ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

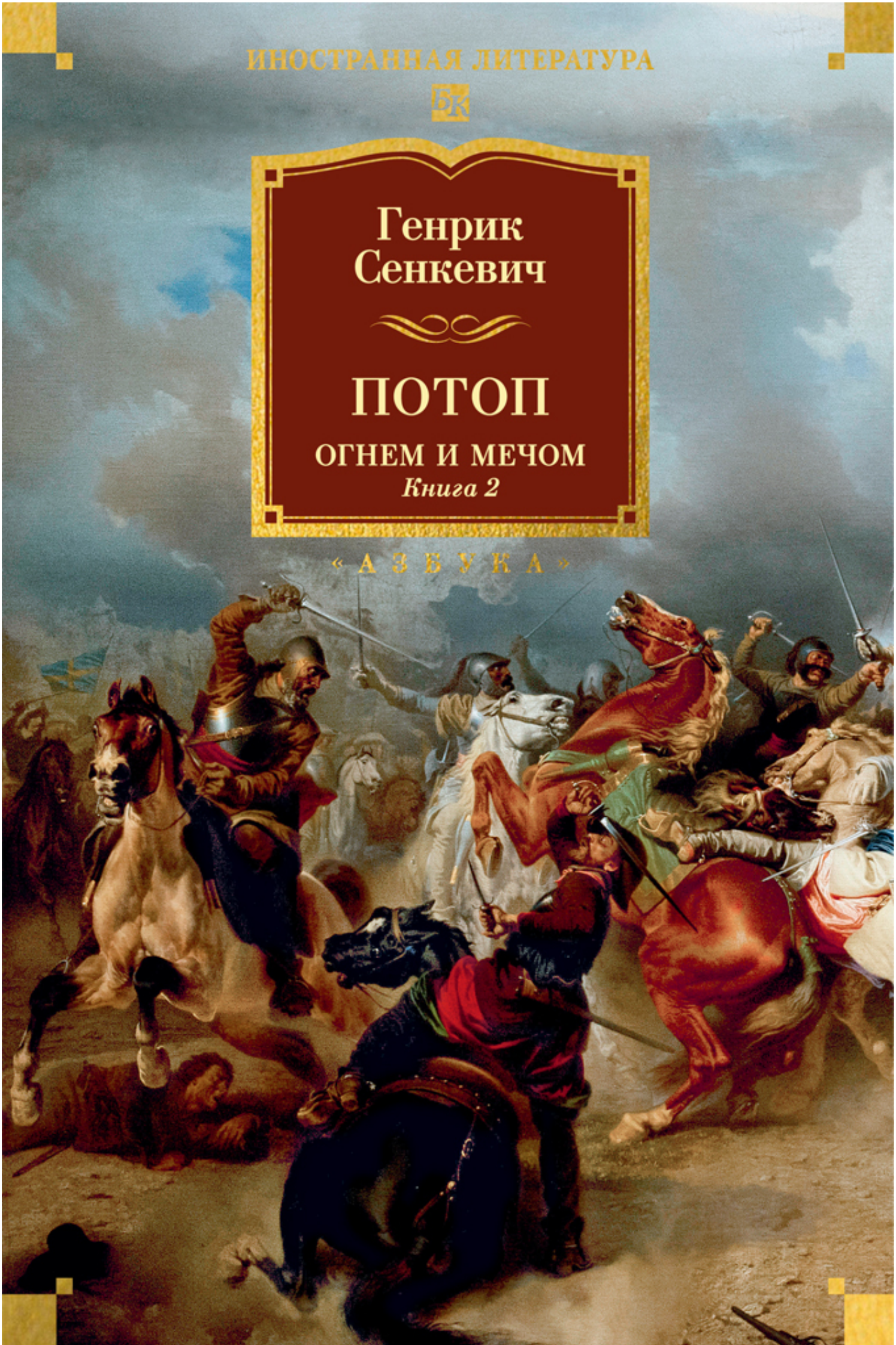
БК

Генрик Сенкевич

ПОТОП

ОГНЕМ И МЕЧОМ

Книга 2



«АЗБУКА»

Иностранная литература. Большие книги

Генрик Сенкевич

Потоп. Огнем и мечом. Книга 2

«Азбука»
1886

УДК 821.162.1
ББК 84(4Пол)-44

Сенкевич Г.

Потоп. Огнем и мечом. Книга 2 / Г. Сенкевич — «Азбука», 1886 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-26540-0

В середине семнадцатого века земли Великой Польши захлестнули волны чужеземных захватчиков. Суровые воины шведского короля Карла X Густава не знали пощады, их мощь была несокрушима. Вторжение шведов называли «шведским потопом», их мечи несли Польше опустошение и разруху. Роман Генрика Сенкевича «Потоп» дает широкое представление о тех смутных временах, о жестоких сражениях, коварных интригах и народных восстаниях. На этом мрачном фоне подобно ярким звездам сверкают образы главных героев романа – военачальника Анджея Кмицица и его возлюбленной Оленьки Биллевич, с одинаковой страстью принимающих любовь и смерть, светлую радость надежды и горькое отчаяние поражения. Роман «Потоп» является второй частью знаменитой историко-приключенческой трилогии Генрика Сенкевича. Все романы трилогии впервые в России сопровождаются блестящими иллюстрациями чешского художника Венцеслава Черны.

УДК 821.162.1
ББК 84(4Пол)-44

ISBN 978-5-389-26540-0

© Сенкевич Г., 1886
© Азбука, 1886

Содержание

Часть первая 6
Вступление 6
Глава I 10
Глава II 20
Глава III 26
Глава IV 34
Глава V 44
Глава VI 57
Глава VII 62
Глава VIII 77
Глава IX 87
Глава X 94
Конец ознакомительного фрагмента. 98

Генрик Сенкевич
Потоп. Огнем и мечом. Книга 2. роман

© Е. М. Егорова (наследники), перевод, 2024
© Л. С. Петрушевская, перевод, 1985
© К. Я. Старосельская (наследник), перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство Иностранка®

* * *

Часть первая

Вступление

Был в Жмуди знатный род Биллевичей со многими отраслями, происшедший от Мендога и во всем Россиенском повете почитавшийся более прочих родов. Никому из Биллевичей не случилось стать вельможею, правили они только у себя в повете, однако на поле Марса оказали отчизне памятные услуги, за что в разное время были щедро жалованы наградами. Родовое гнездо их, сохранившееся и поныне, называлось тоже Биллевичами, но, кроме него, они владели многими другими поместьями и под Россиенами, и дальше к Кракинову, по Лауде, Шое, Невяжи, и даже за Поневежем. Со временем род Биллевичей разделился на несколько домов, и родичи потеряли друг друга из виду. Съезжались все только в ту пору, когда в Россиенах, на равнине, называвшейся Станами, происходили смотры жмудского шляхетского ополчения. Встречались иной раз и под знаменами постоянного литовского войска да на сеймиках, а так как были сильны и богаты, то считаться с ними приходилось даже всемогущим в Литве и Жмуди Радзивиллам.

При короле Яне Казимире патриархом рода был Гераклиуш Биллевич, полковник легкой хоругви, подкоморий упитский. Он не жил в родовом гнезде, принадлежавшем в то время Томашу, мечнику россиенскому; сам Гераклиуш владел Водоктами, Любичем и Митрунами, которые лежали неподалеку от Лауды и, словно морем, были окружены землями мелкопоместной шляхты.

Кроме Биллевичей, богатых домов в округе было не много: Соллогубы, Монтвиллы, Шиллинги, Корызны, Сицинские (впрочем, и мелкопоместной братии с такими прозваниями тоже было немало), и по всему лауданскому поречью раскинулись так называемые «околицы», или, проще сказать, застянки, в которых обитала доблестная и славная в истории Жмуди лауданская шляхта.

В других местах род принимал название от застянка или застянок от рода, как бывало в Подлясье, а тут, в лауданском поречье, было по-иному. Тут, в Морезах. жили Стакьяны, которых в свое время поселил на здешних землях Баторий в награду за храбрость, проявленную под Псковом. В Волмонтовичах на плодородной земле хозяйствовали Бутрымы; великаны на всю Лауду, малоречивые, с тяжелой рукой, они во время сеймиков, набегов и войн привыкли молча ломить стеною. В Дрожейканах и Мозгах возделывали землю многочисленные Домашевичи, славные охотники; в пуще Зелёнке они хаживали на медведя под самый Вилькомир. Гаштовты обитали в Пацунелях; девушки их славились своею красотой, так что в конце концов всех красавиц в окрестностях Кракинова, Поневежа и Упиты стали звать «пацунельками». Соллогубы Малые выпасали на лесных пастбищах табуны коней и стада отличной скотины; Гостевичи из Гощун курили смолу в лесах, почему их и прозвали Гостевичами Черными или Дымными.

Были и другие застянки, были и другие роды. Названия многих сохранились поныне; но и застянки по большей части лежат не там, где прежде лежали, и люди, которые живут в них, зовутся иначе. Пришли войны, бедствия, пожары; люди не всегда отстраивались на старом пепелище, – словом, многое изменилось. Но в те времена еще цвела древняя Лауда, живя по старине, и слух о лауданской шляхте шел по всему краю, ибо незадолго до этого она под водительством Януша Радзивилла сражалась под Лоевом против взбунтовавшихся казаков и покрыла себя великою славой.

Все лауданцы служили в хоругви старого Гераклиуша Биллевича: кто побогаче – товарищами одвуконь, кто победнее – об один конь, а самые бедные – простыми солдатами. Всегда это

была воинственная шляхта, особенно любившая рыцарское свое искусство. Зато в тех делах, которыми обычно занимались сеймики, она мало разбиралась. Знала, что король – в Варшаве, Радзивилл и пан Глебович, староста, – в Жмуди, а пан Виллевич – в Водоктах на Лауде. Этого с нее было довольно, и голосовала она так, как учил пан Виллевич, твердо веря, что он хочет того же, что пан Глебович, тот, в свой черед, идет нога в ногу с Радзивиллом, Радзивилл – королевская рука в Литве и Жмуди, а уж король – супруг Речи Посполитой и отец всего шляхетского сословия.

Для могущественных биржанских владык пан Виллевич был не слугою, а скорее другом, притом неоценимым, ибо по первому зову у него была наготове тысяча голосов и тысяча лауданских сабель, а саблей в руке Стакьянов, Бутрымов, Домашевичей или Гаштовтов в то время не отважился пренебречь еще никто на свете. Все переменилось со временем, особенно после кончины пана Гераклиуша Биллевича.

А не стало отца и благодетеля лауданской шляхты в тысяча шестьсот пятьдесят четвертом году. Страшная война разгорелась в ту пору по всей восточной границе Речи Посполитой. Пан Биллевич не пошел уже на эту войну, годы не позволили и глухота; но лауданцы пошли. И вот когда пришла весть, что Радзивилл потерпел поражение под Шкловом, а лауданская хоругвь чуть не вся порублена в бою с наемной французской пехотой, удар разбил старого полковника, и он отдал Богу душу.

Весть о поражении привез некий пан Михал Володыёвский, молодой, но прославленный воитель, который по приказу Радзивилла командовал вместо пана Гераклиуша лауданской хоругвью. Уцелевшие лауданцы тоже возвратились в родные дома; измученные, подавленные, изголодавшиеся, они, как и все войско, роптали на великого гетмана, который уверовал в свою непобедимость и, решив, что одно его имя внушит страх врагу, с малыми силами бросился на вдесятеро сильнейшего противника и тем нанес много урону войску и всей отчизне.

Но ни один голос не поднялся при этом против молодого полковника, пана Ежи Михала Володыёвского. Напротив, те, кто ушел от погрома, превозносили полковника до небес и рассказывали чудеса о воинском его опыте и доблестях. Единственным утешением для уцелевших лауданцев были воспоминания о том, какие подвиги они совершили под предводительством пана Володыёвского: как одним ударом пробились в атаке сквозь первые ряды свежих войск, как потом, наткнувшись на французских наемников, в прах разнесли саблями лучший полк, причем пан Володыёвский собственноручно зарубил полковника, как, наконец, окруженные со всех сторон, отчаянно прорывались из огненного кольца, и падали, сраженные насмерть, и крушили врага…

С сожалением, но и с гордостью внимали этим рассказам лауданцы, не служившие в регулярном литовском войске, обязанные выступать только с шляхетским ополчением. Всюду ждали, что ополчение, эта последняя защита отчизны, в скором времени будет созвано. Наперед уговорились, что лауданским ротмистром выберут пана Володыёвского, который хоть и был нездешний, но такой покрыл себя славой, что среди местной шляхты не было ему равного. Уцелевшие лауданцы рассказывали, что он спас от гибели самого гетмана. Поэтому вся Лауда на руках его носила, а застянки наперехват зазывали в гости. Особенно спорили при этом Бутрымы, Домашевичи и Гаштовты: все хотели, чтобы пан Володыёвский погостил у них подольше. Сам же он так полюбил эту храбрую шляхту, что, когда остатки радзивилловского войска потянулись в Биржи, чтобы там оправиться после поражения, он не поехал с ними, а разъезжал себе по застянкам, пока не осел наконец прочно у Пакоша Гаштовта, который был старейшиной в Пацунелях.

По правде сказать, пан Володыёвский и не мог бы уехать в Биржи, он тяжело хворал: сперва томила его злая горячка, потом от контузии, которую он получил еще под Цибиховом, отнялась правая рука. Три дочки Пакоша, знаменитые красавицы, стали заботливо за ним уха-

живать и дали клятву вернуть столь славному кавалеру прежнее здоровье, а шляхта, кто только остался жив, занялась похоронами старого своего полковника, пана Гераклиуша Биллевича.

После похорон было вскрыто духовное завещание покойного, из которого обнаружилось, что наследницей всех владений, за исключением деревни Любич, старый полковник назначил внучку свою Александру Биллевич, упитскую ловчанку, опеку же до ее замужества вверил всей лауданской шляхте.

«…Пусть те, кто ко мне был приязнен, – гласило духовное завещание, – и любовью платил за любовь, таковыми же будут и для сироты и в нынешние времена злонравия и злокозненности, когда никто не огражден от людского своеволия и злобы и не может не ведать страха, в память обо мне примут сироту под кров свой и защиту.

Надлежит блюсти им также, дабы она без препон пользовалась владениями, за исключением деревни Любич, каковую я в дар приношу, завещаю и отписываю пану Кмицицу, хорунжему оршанскому, дабы в том оному никто не чинил препятствий. Да ведают те, кто будет дивиться моему к вельможному пану Анджею Кмицицу благорасположению или усмотрит в том обиду для внучки моей родной, Александры, что с молодых лет и до смертного часа я знал от родителя оного Анджея Кмицица лишь приязнь и братскую любовь. С ним вместе мы в походы ходили, и он мне не однажды жизнь спасал, а когда злоба и invidia[1] панов Сицинских замыслили отнять у меня имение, он и в той беде мне помог. Тогда я, Гераклиуш Биллевич, подкоморий упитский, недостойный грешник, ныне предстоящий судилищу Христову, четыре года тому назад (еще живой и земную юдоль попиравший) отправился к пану Кмицицу-отцу, мечнику оршанскому, дабы благодарность ему принести и дать залог верной дружбы. Там же, по старому обычаю, шляхетскому и христианскому, постановили мы с общего согласия, чтобы дети наши, сиречь сын его Анджей и внучка моя Александра, ловчанка, сочетались браком, дабы потомство произвести во славу Божию и на благо Речи Посполитой. Чего я всем сердцем желаю и внучку мою Александру к исполнению означенной моей воли обязываю, разве только пан хорунжий оршанский, упаси бог, зазорными делами себя опорочит и чести будет лишен. Буде вотчины лишится, что на той границе, под Оршей, легко может статься, и тогда надлежит ей с благословения моего поять его в супруги, и буде Любича лишится, на то не взирать.

Буде же, по особому соизволению Божию, внучка моя пожелает во славу Господа Бога принести на алтарь его свое девство и принять монашеский чин, тогда может она совершить сие, ибо слава Божия превыше славы человеческой…»

Так распорядился пан Гераклиуш Биллевич своими владениями и внучкой, чему никто особенно не удивился. Панна Александра давно уже знала, что ее ждет, и шляхта давно слыхала о дружбе между Биллевичем и Кмицицами, да и умы в ту смутную пору другим были заняты, так что в скором времени о духовном завещании и думать забыли.

Но в усадьбе в Водоктах только и разговору было что о Кмицицах, верней, о пане Анджее, потому что старого мечника тоже не было уже в живых. Кмициц со своей небольшой хоругвью и оршанскими охотниками был под Шкловом. Потом пропал из виду; однако никто не думал, что он погиб, ибо смерть столь знатного кавалера, наверно, не прошла бы незамеченной. В Оршанской земле Кмицицы принадлежали к знати и владели большими поместьями, но в том краю все погибло в огне войны. Целые поветы и земли были обращены в пустыню, имения разорены, люди перебиты. После поражения Радзивилла никто уже больше не давал отпора врагу. Госевский, гетман польный, не располагал силами; коронные гетманы с остатками войск сражались на Украине и не могли прийти ему на помощь, так же как и сама Речь Посполитая, истощенная войнами с казачеством. Вражеская волна все глубже заливала край, лишь кое-где разбиваясь о крепостные стены; но и крепости пали одна за другой, как пал Смоленск. Смоленское воеводство, где лежали владения Кмицицев, почитали потерянным. Во всеобщем

[1] Зависть, ненависть *(лат.)*.

смятении и всеобщем страхе люди рассеялись, как листья, гонимые ветром, и никто не знал, что сталось с молодым оршанским хорунжим.

Но до Жмудского староства война еще не докатилась, и лауданская шляхта начала понемногу оправляться после шкловского поражения. Застянки съехались на совет о делах державных и приватных. Бутрымы, самые воинственные, ворчали, что надо ехать в Россиены на congressus[2] шляхетского ополчения, а там и к Госевскому, чтобы отомстить за шкловское поражение. Домашевичи Ловецкие углублялись в леса, в Роговскую пущу, и, доходя до самых вражеских отрядов, привозили оттуда вести; Гостевичи Дымные вялили мясо в дыму для будущих походов. Из дел приватных решено было послать людей бывалых и опытных на розыски пана Анджея Кмицица.

Совет держали лауданские старики под предводительством Пакоша Гаштовта и Касьяна Бутрыма, двоих здешних патриархов; вся шляхта, чрезвычайно польщенная доверием, оказанным ей покойным паном Биллевичем, поклялась неукоснительно выполнить его волю и окружить панну Александру родительской заботой. Потому-то и было спокойно на берегах Лауды, хотя даже в тех краях, куда война еще не дошла, вспыхивали раздоры и смуты. Никто не оспаривал прав молодой помещицы, не запахивал ее меж, не срывал межевых холмиков, не вырубал меченых сосен на лесных рубежах, не захватывал пастбищ. Напротив, все помогали богатой помещице, чем только могли. Стакьяны, которые жили на берегу реки, присылали соленую рыбу; из Волмонтовичей, от ворчливых Бутрымов, поступало зерно, от Гаштовтов – сено, от Домашевичей Ловецких – дичь, от Гостевичей Дымных – смола и деготь. Панну Александру иначе не называли, как «наша панна», а красавицы-шляхтянки поджидали пана Кмицица с таким же нетерпением, как и она.

Тем временем пришли вицы о созыве шляхетского ополчения, и зашевелилась шляхта на Лауде. Юноша возмужалый и муж, еще не согбенный годами, – всяк должен был садиться на конь. Ян Казимир прибыл в Гродно и назначил там общий сбор. Туда все и направились. Первыми двинулись в молчании Бутрымы, за ними прочая шляхта, а Гаштовты, как всегда, поехали последними, потому что жаль им было покидать своих красоток. Из других земель явилось мало шляхты, и отчизна осталась без обороны; но верная Лауда явилась вся.

Пан Володыёвский не поехал, он не владел еще рукою и остался с красавицами как бы за войского. Опустели застянки, одни только старики да женщины сиживали вечерами у очагов. Тихо было в Поневеже и Упите, всюду ждали новостей.

Панна Александра тоже заперлась в Водоктах и никого не видела, кроме слуг да своих лауданских опекунов.

[2] Сбор, встреча *(лат.)*.

Глава I

Наступил новый, тысяча шестьсот пятьдесят пятый год. Январь стоял морозный, но сухой; белым покровом толщиною в локоть одела святую Жмудь суровая зима; под тяжестью инея гнулись и ломались деревья, днем на солнце снег слепил глаза, а ночью при свете луны словно искры пробегали по насту; зверь подходил к людскому жилью, а бедные птицы стучали клювами в запушенные инеем, украшенные морозным узором оконца.

Однажды вечером панна Александра сидела в людской с сенными девушками. Старый это был обычай в роду Биллевичей – проводить вечера с челядью, когда не было гостей, и петь божественные песни, на собственном примере воспитывая простолюдинов. Так поступала и панна Александра, тем охотней, что ее сенные девушки были все больше шляхтянки, убогие сироты. Они делали всякую, даже самую черную, работу, были у госпожи служанками, зато их учили добронравию и обходились с ними лучше, нежели с простыми девками. Впрочем, были среди них и холопки, которых можно было отличить по языку: многие из них не умели говорить по-польски.

Панна Александра со своей родичкой панной Кульвец сидела посредине людской, а девушки по бокам на лавках, все за прялками. В большом очаге с нависшим шатром горели сосновые корневища и бревна, то притухая, то снова вспыхивая ярким огнем или рассыпаясь искрами, когда паренек, стоявший у очага, подкидывал березовых поленьев и щепок. При вспышках пламени были видны темные бревенчатые стены огромной избы с очень низким, перекрытым балками потолком. На балках, покачиваясь от тепла, висели на нитках разноцветные звездочки, вырезанные из облаток, а с балок глядели мотки чесаного льна, свисавшие по обе стороны, словно добытые в бою турецкие бунчуки. Балки были сплошь завалены ими. Оловянная посуда всяких размеров, поставленная на длинные дубовые полки или прислоненная к темным стенам, блестела, как звезды.

В глубине людской, у двери, косматый жмудин, мурлыча под нос заунывную песенку, крутил оглушительно гудевшие жернова; панна Александра в молчании перебирала четки; девушки пряли, тоже ни слова не говоря друг другу.

Отблески огня падали на их молодые румяные лица, а они под суровым оком панны Кульвец усердно, словно наперегонки, пряли свою пряжу, левой рукою щипля мягкий лен, а правой крутя веретена. Они то переглядывались, то вскидывали быстрые глаза на панну Александру, словно в ожидании, скоро ли она велит жмудину перестать молоть и запоет божественную песню, но работать не переставали, все пряли да пряли; вились нити, жужжали веретена, мелькали спицы в руках панны Кульвец, а косматый жмудин гудел на своих жерновах.

Однако порой он прерывал работу, – видно, что-то портилось у него в жерновах, потому что тут же раздавался его сердитый голос:

– Padlas![3]

Панна Александра поднимала голову, словно пробужденная тишиной, которая воцарялась после возгласа жмудина; огонь освещал тогда ее белое лицо и спокойные голубые глаза, глядевшие из-под черных бровей.

Она была хороша собою, с льняными косами, тонким лилейным личиком. Белого цветка была у нее красота. В черном смирном платье девушка с виду казалась строгой. Сидя у очага, она предалась своим мыслям, как снам, – верно, думала о своей судьбе, о будущем, которое было темно.

По духовному завещанию в супруги ей был предназначен человек, которого она не видала с десяти лет; ей шел теперь двадцатый год, и у нее осталось лишь смутное воспоминание о шум-

[3] Подлый! *(литов.)*

ном подростке, который в бытность свою с отцом в Водоктах больше носился с ружьем по болотам, чем глядел на нее.

«Где-то он и каким стал теперь?» – вот вопросы, которые теснились в уме сумрачной девушки.

Правда, она знала его по рассказам покойного подкомория, который за четыре года до своей кончины совершил далекое и трудное путешествие в Оршу. По этим рассказам, это был «кавалер беззаветной храбрости, но горячая голова». После того как старый Биллевич и Кмициц-отец сговорили детей, кавалер должен был сразу же приехать в Водокты на смотрины; но тут разгорелась великая война, и вместо того, чтобы ехать к невесте, кавалер отправился на поля Берестечка. Там его подстрелили, он лечился дома, потом ухаживал за умирающим отцом, а там снова вспыхнула война – и так прошли четыре года. Немало воды утекло и со времени кончины полковника, а меж тем о Кмицице и слух пропал.

Было о чем подумать панне Александре, а может, тосковала она о суженом своем незнакомом. Чистое сердце ее, еще не знавшее любви, было исполнено великой готовности любить. Достаточно было искры, чтобы в нем зажегся огонь, спокойный, но яркий, ровный, сильный и неугасимый, как священный языческий огонь у литвинов.

Тревога охватывала ее, порою сладкая, порой томительная, и в душе она все задавала себе вопросы, на которые не было ответа, и прийти он мог только с далеких полей. И первый вопрос был: по доброй ли воле женится он на ней и ответит ли на зов ее сердца, готового любить? В те времена было обычным делом сговаривать детей, и даже после смерти родителей связанные благословением дети чаще всего не нарушали родительской воли. Так что панна Александра ничего особенного не видела в том, что ее просватали; но одно дело – добрая воля, а другое дело – долг: не всегда они ходят в паре. Вот и эта дума томила белокурую ее головушку: «А полюбит ли он меня?» И нахлынули мысли, словно стая птиц слетелась на одинокое дерево в широком поле: «Кто ты? Каков ты? Живой ли бродишь по свету иль сложил уже свою голову? Далёко ль ты, близко ли» Открытое сердце девушки, будто дверь, открытая навстречу милому гостю, невольно взывало к далекой стороне, к заснеженным лесам и полям, окутанным ночью: «Отзовись же, добрый молодец! Нет ведь ничего горше на свете, чем ждать!»

И вдруг, точно в ответ на ее зов, снаружи, из этих заснеженных, окутанных ночью далей до слуха ее долетел звон колокольчика.

Девушка вздрогнула, но тут же вспомнила, что из Пацунелей почти каждый вечер присылают за лекарствами для молодого полковника; то же подумала и панна Кульвец.

– От Гаштовтов за териаком, – сказала она.

Частый звон колокольчика, подвязанного к дышлу, звучал все явственней и вдруг смолк; видно, санки остановились у крыльца.

– Погляди, кто там приехал, – велела панна Кульвец жмудину, крутившему жернова.

Жмудин вышел из людской, но через минуту вернулся и снова взялся за ручку жерновов.

– Панас Кмитас, – сказал он невозмутимо.

– И слово стало плотью! – воскликнула панна Кульвец.

Пряхи повскакали с мест; прялки и веретена попадали наземь.

Панна Александра тоже встала; сердце колотилось у нее в груди, лицо то краснело, то бледнело; она нарочно отвернулась от очага, чтобы не показать своего волнения.

Но тут в дверях появилась чья-то высокая фигура в шубе и меховой шапке. Молодой мужчина шагнул на середину избы и, поняв, что находится в людской, звучным голосом, не снимая шапки, спросил:

– Эй, а где же ваша панна?

– Я здесь, – довольно твердым голосом ответила панна Александра.

Услышав эти слова, приезжий снял шапку, бросил ее наземь и сказал с поклоном:

– Я – Анджей Кмициц.

На одно короткое мгновенье глаза панны Александры остановились на лице Кмицица, девушка тотчас потупила взор; но за это короткое мгновенье она успела заметить светло-русую, как рожь, высоко подбритую чуприну, быстрый взгляд серых глаз, темный ус, орлиный нос и лицо, смуглое, молодое, веселое и смелое.

Он же левой рукой в бок уперся, правую к усу поднес и вот что сказал:

– Не был я еще в Любиче, птицей летел сюда, чтобы панне ловчанке в ноги поклониться. Прямо из ратного стана принес меня сюда ветер, дай-то Бог, чтобы счастливый.

– Знал ли ты, пан, про смерть дедушки моего, подкомория? – спросила девушка.

– Не знал, но, как сказали мне об его кончине твои сермяжнички, что отсюда приезжали ко мне, горькими слезами оплакал я моего благодетеля. Истинным другом, можно сказать, братом был он покойному моему родителю. Верно, и ты, панна, хорошо знаешь, что четыре года назад приезжал он к нам, под Оршу. Тогда и обещал мне покойный тебя и портретец твой показал, с той поры и вздыхал я по тебе по ночам. Я бы и раньше приехал, да война не родимая матушка, людей сватает только со смертью.

Смутили немного девушку эти смелые речи, и, желая переменить разговор, она спросила:

– Так ты, пан, еще не видал своего Любича?

– Успеется. Тут у меня дела поважней и наследство подороже, хочу его вперед получить. Только что же это ты, панна, все отвертываешься от огня, я и в глаза заглянуть тебе не могу. Вот так, сюда повернись, а я со стороны печи зайду! Вот так!

С этими словами смелый солдат схватил не ожидавшую этого Оленьку, крутнул ее, как волчок, и повернул к огню.

Она еще больше смутилась и, прикрыв глаза длинными ресницами, стояла так, устыдившись и света, и собственной своей красоты. Кмициц отпустил ее наконец и хлопнул себя по кунтушу.

– Ей-же-ей, чудо как хороша! На сто служб дам за упокой души моего благодетеля, что мне тебя отписал. Когда свадьба?

– Не скоро, я еще не твоя, – ответила Оленька.

– Но будешь моей, хоть бы мне дом пришлось поджечь! Боже мой! Я думал, живописец польстил тебе, а вижу, он далеко метил, да промашку дал. Сто плетей такому мастеру, печи ему малевать, а не такую красу писать, что гляжу вот – и не нагляжусь. Милое дело – получить такое наследство, разрази меня гром!

На одно короткое мгновенье глаза панны Александры остановились на лице Кмицица, девушка тотчас потупила взор…

– Верно мне покойный дедушка говорил, что ты, пан, горячая голова.

– Мы, смоленские, все такие, не то что ваши жмудины. Раз-два – и быть по-нашему, а нет, так смерть!

Оленька улыбнулась и сказала уже совсем твердым голосом, поднимая на кавалера взор:

– Э, да у вас, верно, татары живут?

– Все едино, ты, панна, моя и по родительской воле, и по сердцу.

– Вот по сердцу ли, я того еще не знаю.

– Коли нет, я ножом себя пырну!

– Ты, пан, все с шуточками!.. Что же это, однако, мы в людской стоим! Прошу в покои. После дальней дороги и поужинать не мешает – прошу!

Тут Оленька обратилась к панне Кульвец:

– Вы, тетушка, с нами?

Молодой хорунжий бросил быстрый взгляд.

– Тетушка? – спросил он. – Чья тетушка?

– Моя, панна Кульвец.

– Стало быть, и моя! – подхватил он и стал целовать панне Кульвец руки. – Боже ты мой, да ведь у меня в хоругви есть товарищ по прозванию Кульвец-Гиппоцентаврус. Скажи, пожалуйста, не родня ли он тебе, тетушка?

– Сродни! – приседая, ответила старая дева.

– Хороший парень, но ветрогон, как и я! – прибавил Кмициц.

Тем временем появился слуга с огнем, и все прошли сперва в сени, где пан Анджей снял шубу, а потом на другую половину, в покои для гостей.

После их ухода пряхи тотчас сбились тесной кучкой и все разом заговорили о приезжем, слова не давая сказать друг дружке. Статный молодец очень им понравился, и девушки наперебой расхваливали его.

– Так весь и сияет! – говорила одна. – Как взошел, думала, королевич.

– А глаза-то как у рыси, так и сверлят, – подхватила другая. – Попробуй такому слово поперек скажи!

– И думать не смей! – поддержала третья.

– Панну, как веретено, завертел! Видно, очень она ему по сердцу пришлась, да и кому бы не пришлась она по сердцу?

– Ну, он тоже не хуже ее! Случись тебе такой, небось и в Оршу пошла бы за ним, хоть она на краю света.

– Счастливица панночка.

– Богатым на свете всегда лучше живется. Эх, не рыцарь – загляденье.

– Девушки из Пацунелей говорили, будто ротмистр, что живет у них, у старого Пакоша, тоже красавец.

– Не видала я его, но куда ему до пана Кмицица! Такого, верно, на всем свете не сыщешь.

– Padlas! – крикнул внезапно жмудин, у которого снова разладились жернова.

– Эй, косматый, шел бы ты отсюда со своею бранью! Помолчи, а то ничего не слышно! Да-да! Лучше пана Кмицица на всем свете не сыщешь! Пожалуй, и в Кейданах нету такого!

– Смотри, еще во сне приснится!

– Да хоть бы приснился…

Такой разговор шел у шляхтянок в людской. Тем временем в столовом покое поспешно накрывали на стол, а в зале панна Александра осталась одна с Кмицицем, потому что тетушка ушла готовить ужин.

Пан Анджей глаз не сводил с Оленьки, и они все больше у него разгорались.

– Есть люди, которым богатство всего дороже, – сказал он наконец, – другие на войне за добычей охотятся, иные лошадей любят, а я, моя панна, тебя вот не променял бы ни на какие

сокровища. Ей-ей, чем больше гляжу на тебя, тем больше охота берет жениться, право же, хоть завтра под венец! Брови-то, верно, жженой пробкой чернишь?

– Слыхала я, есть такие ветреницы, только я не из их числа.

– А глазки-то лазоревые! Слов у меня от смущения не хватает.

– Не очень-то ты смутился, пан, коли так ко мне приступаешь, даже мне удивительно.

– Это тоже наш смоленский обычай: на бабу и в огонь смело идти. Ты, моя королева, к этому привыкай, так всегда будет.

– Ты, пан Анджей, от этого отвыкай, так не должно быть.

– Может, я тебя и послушаюсь, чтоб мне головы не сносить! Хочешь – верь, моя панна, хочешь – не верь, а я бы тебе под ноженьки небо подостлал! Я для тебя, моя королева, и другим обычаям готов научиться. Знаю ведь, простой солдат я, больше в ратном стане доводилось бывать, нежели в панских покоях.

– Одно другому не мешает, мой дедушка тоже был солдатом, а за добрые намерения спасибо тебе! – ответила Оленька и так сладко поглядела на пана Анджея, что сердце у него растаяло тотчас, как воск.

– Ты, моя панна, на веревочке будешь меня водить!

– Что-то не похож ты на тех, кого на веревочке водят! Хуже нет, чем с такими строптивцами.

Кмициц в улыбке открыл белые, точно волчьи, зубы.

– Как! – воскликнул он. – Неужто мало розог обломали в школе об мою спину святые отцы, чтобы выбить из меня эту строптивость и вбить в голову всякие честные правила?

– А какие же вбили лучше всего?

– Коли любишь, падай в ноги – вот так!

При этих словах пан Кмициц уже был на коленях, а панна Александра, пряча ноги под стулец, кричала:

– Ради бога! Этого тебе в школе в голову не вбивали! Ах, оставь, оставь, не то я рассержусь… да и тетка сейчас войдет!

Не вставая с колен, он поднял голову и заглядывал ей в глаза:

– Да и пусть целая хоругвь теток придет, я не откажусь, что охота мне любить тебя!

– Вставай же, пан Анджей!

– Встаю.

– Садись, пан Анджей!

– Сижу!

– Злодей ты, Иудушка!

– Вот и неправда, я когда целую, так от всей души! Хочешь, докажу?

– И думать не смей!

Однако панна Александра смеялась, а он весь сиял от радости и молодости. Ноздри у него раздувались, как у молодого жеребца благородных кровей.

– Ай-ай! – говорил он. – Что за глазки, что за личико! Спасите, святые угодники, а то не усижу!

– Нечего угодников звать. Четыре года сидел, покуда сюда собрался, так сиди и теперь!

– Ба! да я ведь знал только портрет. Я этого живописца велю в смоле вымазать да в перьях вывалять и в Упите кнутом прогнать по рынку. Я тебе все скажу, как на духу: хочешь – прости, нет – так голову руби! Думал это я себе, глядя на портретец: красивая девка, ничего не скажешь, да ведь красивых девок хоть пруд пруди – успею! Покойный отец все торопил ехать, а я ему одно твердил: успею, не уйдет женитьба, девушки на войну не ходят и не погибают! Бог свидетель, не противился я отцовской воле, только хотел сперва повоевать, все испытать на собственной шкуре. Теперь только вижу, глуп был, ведь на войну и женатым мог бы пойти,

а тут бы меня утеха ждала. Слава богу, что насмерть меня не зарубили. Позволь же, моя панна, ручки тебе поцеловать.

– Нет уж, не позволю.

– А я и спрашивать не стану. У нас, оршанских, так говорят: «Проси, а не дают – сам бери!»

Тут пан Анджей схватил ручки девушки и стал осыпать их поцелуями, а она не очень противилась, боялась показаться неучтивой.

Но тут вошла панна Кульвец и, видя, что творится, подняла очи к небу. Не понравилась ей эта близость, но не посмела она сказать что-нибудь детям, только к ужину позвала.

Взявшись под руки, как брат с сестрою, направились они оба в столовый покой, где стол ломился под множеством всяких блюд; особенно много было отменных колбас, стояла там и обомшелая сулейка вина, дающего крепость. Хорошо было молодым вдвоем, легко и весело. Панна Александра уже успела отужинать, так что за стол уселся только пан Кмициц и принялся за еду с той же живостью, с какой перед тем разговаривал.

Оленька поглядывала на него сбоку, радуясь, что он ест и пьет, но, когда он утолил первый голод, снова стала выспрашивать:

– Так ты, пан Анджей, не из Орши едешь?

– Да разве я знаю, откуда еду? Сегодня тут, а завтра там. Как волк к овце, подкрадывался я к врагу, – где можно было куснуть, там и кусал.

– Как же ты отважился пойти против такой силы, перед которой отступил сам великий гетман?

– Как отважился? А я на все готов, такая уж у меня натура!

– Говорил мне про то покойный дедушка. Счастье, что голову ты не сложил.

– Э, прихлопывали они меня там, как птицу в западне, но только прихлопнут, а я уж ускользнул и в другом месте укусил. Так я им насолил, что они цену назначили за мою голову… Отменный, однако, полоток!

– Во имя Отца и Сына! – воскликнула Оленька, с непритворным ужасом и в то же время восторгом глядя на этого молодца, который мог говорить зараз и о цене за свою голову, и о полотке.

– Верно, были у тебя, пан Анджей, большие силы?

– Две сотни своих драгун было, молодцов как на подбор, да за месяц их всех перебили. Потом ходил я с охотниками, набирал их где ни попадя, без разбору. Завзятые вояки, но – разбойники над разбойниками! Кто еще не погиб, рано или поздно пойдет воронью на закуску…

При этих словах пан Анджей опять рассмеялся, опрокинул чару вина и прибавил:

– Таких сорвиголов ты, моя панна, отродясь не видывала. Чтоб их черт побрал! Офицеры все – шляхтичи из наших краев, родовитые, достойные и чуть не все уже под судом. Сидят теперь у меня в Любиче, что же мне с ними делать?

– Так ты, пан Анджей, прибыл к нам с целой хоругвью?

– Да. Неприятель заперся в городах, зима ведь лютая! Мой народишко тоже обтрепался, как обитый веник, вот князь воевода и назначил меня на постой в Поневеж. Ей-ей, заслуженный это отдых!

– Кушай, пан Анджей, пожалуйста.

– Я бы для тебя, моя панна, и отравы скушал!.. Оставил я тогда часть моей голытьбы в Поневеже, часть в Упите, ну а самых достойных товарищей к себе в Любич в гости зазвал… Приедут они к тебе на поклон.

– А где же тебя, пан Анджей, лауданцы нашли?

– Они меня встретили, когда я шел уже на постой в Поневеж. Я бы и без них сюда приехал.

– Пей же, пан Анджей!

– Я бы для тебя, моя панна, и отравы выпил!..

– А про смерть дедушки и духовную ты только от лауданцев узнал?

– Про смерть – от них, помяни, Господи, душу моего благодетеля! Не ты ли это, панна Александра, послала ко мне этих людей?

– Ты, пан Анджей, такого не думай! У меня на мысли одна печаль да молитва была!

– Они то же мне толковали… Ох и гордые сермяжнички! Хотел я их за труды наградить, так они как напустятся на меня: это, может, говорят, оршанская шляхта в руки глядит, а мы, лауданцы, не таковские! Крепко меня изругали! Послушал я их да и думаю себе: не хотите денег, дам-ка я вам по сотне плетей.

Панна Александра за голову схватилась:

– Иисусе Христе, и ты это сделал?

Кмициц посмотрел на нее с удивлением:

– Не пугайся, панна Александра. Не сделал, хоть как гляну на такую вот шляхетскую голытьбу, что за ровню хочет нас почитать, так с души у меня воротит. Думал только, ославят они меня безо всякой вины насильником да перед тобой еще оговорят.

– Какое счастье! – со вздохом облегчения сказала Оленька. – А то бы я и на глаза тебя не пустила!

– Это почему же?

– Убогая это шляхта, но старинная и славная. Покойный дедушка всегда любил их и на войну с ними ходил. Весь век они вместе прослужили, а в мирное время он их дома у себя принимал. Старая у нас дружба с ними, и ты уважать ее должен. Есть ведь у тебя сердце, и не нарушишь ты святого согласия, в каком мы до сих пор жили!

– Да ведь я ничего не знал, разрази меня господь, не знал! И признаюсь, не лежит у меня душа к этой нищей шляхте. У нас так: коль ты мужик, так мужик, а шляхта все родовитая, на одну кобылу вдвоем не садятся. Право же, такой голи равняться с Кмицицами или Биллевичами – все едино что вьюнам со щуками, хоть и вьюн и щука одинаково рыбы.

– Дедушка говорил, что богатство ничего не стоит, кровь и честь – вот что важно, а они люди честные, иначе дедушка не назначил бы их моими опекунами.

Пан Анджей от удивления глаза раскрыл:

– Опекунами? Дедушка назначил их твоими опекунами? Всю лауданскую шляхту?

– Да. И не хмурься, пан Анджей, воля покойного свята. Странно мне, что посланцы не сказали тебе об этом.

– Да я бы их!.. Нет, не может быть! Ведь тут добрых два десятка застянков… И все эти сермяжники тут судят и рядят? Неужто и со мной будут судить и рядить, раздумывать, по душе ли я им или нет? Эй, не шути, панна Александра, а то у меня кровь кипит!

– Я не шучу, пан Анджей, истинную правду говорю тебе. Не будут они судить и рядить; и коль ты, по примеру дедушки, станешь им за отца, не оттолкнешь их, не будешь чваниться, то не только их, но и мое сердце покоришь. Буду я с ними помнить это до гроба, до гроба, пан Анджей!..

В голосе ее звучала нежная мольба; но морщины у него на лбу не разгладились, он по-прежнему хмурился. Правда, подавил вспышку гнева, только порой словно молнии пробегали у него по лицу, – но ответил девушке заносчиво и надменно:

– Вот уж не ждал! Волю покойного я уважаю и вот что думаю: до моего приезда пан подкоморий мог назначить эту серую шляхту твоими опекунами, но, коли нога моя ступила сюда, никто, кроме меня, опекуном больше не будет. Не только этой серой шляхте, самим биржанским Радзивиллам опекать тут нечего!

Панна Александра нахмурилась и ответила, помолчав минуту времени:

– Нехорошо ты, пан Анджей, делаешь, что так кичишься. Волю покойного деда либо целиком надо принять бы, либо отвергнуть, я не вижу иного выхода. Лауданцы не станут надоедать тебе или навязываться, люди они мирные и достойные. Не думай, пан Анджей, что они

могут быть тебе в тягость. Когда бы начались распри, они могли бы сказать свое слово, а так, я думаю, все будет тихо и мирно и такая это будет опека, словно бы ее и нет совсем.

Он помолчал еще минуту, потом махнул рукой и сказал:

– И то сказать, со свадьбой все кончится. Не из-за чего спорить, пусть только сидят смирно и не мешают мне, а то я, ей-богу, не дам себе в кашу наплевать! Впрочем, довольно о них! Дай согласие, панна Александра, обвенчаться поскорей, и все будет хорошо!

– Не пристало сейчас, в дни печали, говорить об этом.

– Эх! А долго ли придется мне ждать?

– Дедушка сам написал, что не долее полугода.

– Иссохну я до той поры, как щепка. Ну давай не будем больше ссориться. Ты уж так сурово стала на меня поглядывать, будто я всему виною. Ну что это ты, королева моя золотая! Чем я виноват, что такая у меня натура: рассержусь на кого, так, сдается, на куски бы его разорвал, а отойдет сердце, и вроде наново сшил бы.

– Страшно жить с таким, – повеселев, ответила Оленька.

– За твое здоровье! Хорошее вино, а для меня сабля да вино – первое дело! Ну чего там – страшно жить со мною! Да ты меня в сети уловишь своими очами, рабом сделаешь, хоть я ничьей власти над собою не терпел. Вот и теперь, чем панам гетманам кланяться, предпочел с хоругвью один на свой страх воевать. Королева ты моя золотая, коли что не так, прости меня, я ведь обхождению не в покоях у придворных дам, а около пушек учился, не за лютней, а в солдатском гаме. Сторона у нас неспокойная, сабли из руки не выпустишь. Засудили тебя, приговорили, головы твоей ищут – все это пустое! Будь только смел да удал, и люди тебя уважают. Exemplum[4] мои товарищи, в другом месте они бы давно по тюрьмам сидели… а ведь тоже достойные кавалеры! Даже бабы у нас ходят в сапогах, с саблей на боку, отряды в бой водят, как пани Кокосинская, тетка моего поручика, которая пала на поле битвы, а племянник ее под моей командой мстил за нее, хоть при жизни ее не любил. Где уж нам, хоть и самым родовитым, учиться придворному обхождению? Одно мы знаем: война – так в поход иди, сеймик – так горло дери, а языка мало – за саблю хватайся! Вот какое дело! Таким меня покойный подкоморий знавал и такого для тебя выбрал!

– Я всегда с радостью исполняла волю деда, – ответила девушка, потупя взор.

– Дай же мне еще твои рученьки поцеловать, солнышко мое ненаглядное! Право, очень ты мне по сердцу пришлась. Так я разомлел, что не знаю, как и попаду в этот самый Любич, которого еще не видал.

– Я тебе дам провожатого.

– Э, обойдется. Я уже привык ездить по ночам. Есть у меня солдат родом из Поневежа, он должен знать дорогу. А там меня Кокосинский ждет с товарищами… У нас Кокосинские, Пыпки по прозванию, большая знать. Этого безвинно чести лишили за то, что он пану Орпишевскому дом спалил и дочку увез, а людей вырезал. Достойный товарищ! Дай же мне еще рученьки. Время, вижу, ехать!

Тут большие гданьские часы, стоявшие в столовом покое, стали медленно бить полночь.

– Ах ты, господи! – вскричал Кмициц. – Время, время! Ничего я уж больше сделать тут не успею! Любишь ли ты меня хоть крошечку?

– В другой раз скажу. В гости-то будешь ко мне ездить?

– Каждый день, разве земля подо мною расступится! Ей-ей, хоть голову на плаху!

С этими словами Кмициц поднялся, и они вдвоем вышли в сени. Санки ждали уже у крыльца; Кмициц надел шубу и стал прощаться с панной Александрой, упрашивая ее вернуться в покой, потому что с крыльца тянет холодом.

---

[4] Пример *(лат.)*.

– Спокойной ночи, милая моя королева, – говорил он, – спи сладко, я-то уж, верно, глаз не сомкну, все буду думать про твою красоту!

– Только бы чего плохого не углядел. А все-таки дам-ка я тебе лучше человека с плошкой, а то под Волмонтовичами и волки не редкость.

– Да что же я, коза, что ли, чтоб волков бояться? Волк солдату друг-приятель, он из его рук часто поживу имеет. Да и мушкетон есть в санках. Спокойной ночи, голубка моя, спокойной ночи!

– С Богом!

С этими словами Оленька ушла в покои, а Кмициц шагнул на крыльцо. Но по дороге в щель неплотно притворенной двери людской он увидел несколько пар девичьих глаз, – это девушки не ложились спать, чтобы еще раз на него посмотреть. По солдатскому обычаю, пан Анджей послал им воздушный поцелуй и вышел. Через минуту зазвенел колокольчик, сперва громко, потом все тише и тише, пока наконец не умолк совсем.

И сразу так тихо стало в Водоктах, что эта тишина испугала панну Александру; в ушах ее все еще звучал голос пана Анджея, она все еще слышала его веселый и непринужденный смех, перед ее глазами все еще стояла его сильная фигура, а тут, после потока слов, смеха и веселья, такое странное вдруг воцарилось безмолвие. Девушка напрягла слух, не донесется ли еще звон колокольчика. Но нет, он гремел уже где-то в лесах, под Волмонтовичами. Тяжелая тоска напала на нее, никогда еще она не чувствовала себя такой одинокой.

Медленно взяв свечу, она прошла в опочивальню и опустилась на колени, чтобы помолиться. Пять раз начинала она молиться, пока с надлежащим усердием прочла все молитвы. Но потом мысли ее как на крыльях полетели за санками, за седоком. По одну сторону бор, по другую бор, посреди дорога, а он мчится себе, пан Анджей! Как наяву, увидела Оленька вдруг светло-русый чуб, серые глаза и смеющиеся губы со сверкающими, белыми, как у молодого щенка, зубами. Трудно было строгой девушке признаться себе, что очень ей по сердцу пришелся неукротимый этот молодец. Растревожил ее, напугал, но и прельстил своей удалью, непринужденным своим весельем и искренностью. Стыдно было ей сознаться, что и гордостью своей он ей понравился, когда в разговоре об опекунах поднял голову, как турецкий скакун, и сказал: «Самим биржанским Радзивиллам опекать тут нечего». «Нет, не баба он, истинный муж! – говорила себе девушка. – Солдат, каких дедушка больше всего любил… Да они того и стоят!»

Так предавалась девушка раздумью, и ее то обнимало блаженство, ничем не смущенное, то тревога, но и тревога эта была какой-то сладкой. Панна Александра уже разделась, когда дверь скрипнула и вошла тетка Кульвец со свечой в руке.

– Страх как вы засиделись! – сказала она. – Не хотела я мешать вам, молодым, чтобы вы одни в первый раз наговорились. Кавалер, сдается, учтивый. А как он тебе понравился?

Панна Александра сперва ничего не ответила, только подбежала к тетке босыми ножками, закинула ей руки на шею и, склонив свою светлую голову ей на грудь, сказала нежным голосом:

– Тетушка, ах, тетушка!

– Ого! – пробормотала старая дева, поднимая вверх и глаза, и свечу.

Глава II

Когда пан Анджей подъехал к усадьбе в Любиче, окна пылали и шум голосов долетал даже во двор. Услышав звон колокольчика, из сеней выбежали слуги, чтобы приветствовать нового хозяина; о том, что он должен приехать, они узнали от его товарищей. Встречали они хозяина, униженно целуя ему руки и обнимая ноги. Старый управитель Зникис стоял в сенях с хлебом-солью и низко кланялся; все с тревогой и любопытством смотрели, каков из себя новый их господин. Он бросил на блюдо кошелек с талерами и стал спрашивать о товарищах, удивленный тем, что никто из них не вышел навстречу его милости хозяину дома.

Но они не могли выйти ему навстречу, потому что часа три уже пировали за столом, то и дело наливая чары, и, верно, совсем не слыхали колокольчика за окном. Однако, когда пан Анджей вошел в комнату, из всех грудей вырвался громкий крик: «Haeres! Haeres[5] приехал!» – и все товарищи повскакали с мест и с чарами в руках пошли ему навстречу. Увидев, что они уже распорядились в его доме и до его приезда успели даже подвыпить, он уперся руками в бока и засмеялся. Он смеялся все громче, видя, как они опрокидывают стульцы, как, покачиваясь, выступают с пьяною важностью. Впереди всех шел великан Яромир Кокосинский, по прозванию Пыпка, славный солдат, забияка со страшным шрамом через весь лоб, глаз и щеку, с одним усом короче, а другим длинней, поручик и друг Кмицица, его «достойный товарищ», приговоренный в Смоленске к лишению чести и смертной казни за увоз шляхтянки, убийство и поджог. Его-то теперь и хранили от казни война да покровительство Кмицица, который был ему ровесником и соседом, – поместья их в Оршанской земле, до того как пан Яромир прогулял свое, лежали межа к меже. Шел пан Яромир, держа в руках ковш, наполненный медом. За ним выступал Раницкий герба Сухие Покои, родом из Мстиславского воеводства, откуда был изгнан за убийство двух помещиков. Одного он зарубил в поединке, а другого так, без боя, пристрелил из ружья. Имущества у него теперь не было никакого, хотя после смерти родителей он получил в наследство много земли. Война и его хранила от рук заплечного мастера. Буян это был, и не было равных ему в поединке на саблях. Третьим шел Рекуц-Лелива, руки которого если и были обагрены кровью, то только вражеской. Зато имение он пропил и проиграл в кости – и вот уже три года таскался за Кмицицем. С ним вместе шел четвертый, Углик, тоже смоленский шляхтич, который за разгон трибунала лишен был чести и приговорен к смертной казни. Кмициц оказывал ему покровительство за то, что он хорошо играл на чакане. Кроме них, были тут и Кульвец-Гиппоцентаврус, такой же великан, как и Кокосинский, но превосходивший его силой, и Зенд, объездчик, который умел подражать птицам и зверям, человек темного происхождения, хоть и выдававший себя за курляндского дворянина; имения у него не было, и он выезжал Кмицицу лошадей, за что получал жалованье.

Все они окружили смеющегося пана Анджея: Кокосинский поднял ковш и запел:

Выпей-ка с нами, хозяин милый,
хозяин милый!
Чтобы пить вместе нам до могилы,
нам до могилы!

Остальные подхватили хором, после чего Кокосинский протянул Кмицицу ковш, а ему Зенд тотчас подал другую чару.

Кмициц поднял свой ковш и крикнул:

– За здоровье моей любушки!

[5] Наследник *(лат.)*.

– Vivat! Vivat![6] – крикнули все в один голос, так что стекла задребезжали в оловянных переплетах.

– Vivat! Траур кончится, свадьбу сыграем!

Посыпались вопросы:

– А какая она из себя? Что, Ендрусь, очень хороша? Такая, как ты думал? Среди наших оршанских найдется такая?

– Среди оршанских? – воскликнул Кмициц. – Да против нее нашими паннами только трубы затыкать! Сто чертей! Нет такой другой на свете!

– Мы тебе этого желали! – сказал Раницкий. – Так когда же свадьба?

– Как кончится траур.

– Плевать на траур! Дети черными не родятся, только белыми!

– Будет свадьба, так и траура не будет. Не жди, Ендрусь!

– Не жди, Ендрусь! – начали кричать все хором.

– Оршанским хорунжатам уже хочется с неба на землю! – крикнул Кокосинский.

– Не заставляй ждать бедняжек!

– Ясновельможные! – тонким голосом сказал Рекуц-Лелива. – Напьемся на свадьбе вдрызг!

– Милые мои барашки, – взмолился Кмициц, – пустите же меня, а проще сказать, идите к черту, дайте же мне дом посмотреть!

– Незачем! – возразил Углик. – Завтра посмотришь, а теперь пойдем к столу: там еще стоит парочка сулеек, да с полными брюшками.

– Мы уж за тебя тут все посмотрели. Любич – золотое дно, – сказал Раницкий.

– Конюшня хороша! – крикнул Зенд. – Два бахмата отменных гусарских, парочка жмудских да калмыцких пара, и всех по паре, как глаз в голове. Табун завтра поглядим.

Тут Зенд заржал, как конь, и все удивлялись, что он так здорово ржет, и смеялись.

– Так вот какие тут порядки? – воскликнул обрадованный Кмициц.

– И погребок отменный, – пропищал Рекуц. – И смоленые бочки, и обомшелые сулеи стоят, как хоругви в строю.

– Вот и слава богу! Давайте садиться за стол!

– За стол! За стол!

Не успели рассесться и налить по чаре, как Раницкий снова вскочил:

– За здоровье подкомория Биллевича!

– Дурак! – оборвал его Кмициц. – Что это ты? За здоровье покойника пьешь?

– Дурак! – подхватили остальные. – За здоровье хозяина!

– Ваше здоровье!

– Дай Бог в этом доме нам во всем удачи!

Кмициц невольно повел глазами по столовому покою и на почерневшей от старости лиственничной стене увидел ряд суровых глаз, устремленных на него. Это глаза Биллевичей глядели с портретов, висевших низко, в двух локтях от земли, потому что потолки в доме были низкие. Над портретами ровным рядом висели черепа зубров, оленей, лосей, увенчанные рогами; некоторые из них, видно очень старые, уже почернели, другие – сверкали белизной. Все четыре стены были украшены ими.

– Охота тут, верно, хороша, вижу, зверя много! – заметил Кмициц.

– Завтра и отправимся, а нет, так послезавтра. Надо и со здешними местами познакомиться, – подхватил Кокосинский. – Счастливец ты, Ендрусь, есть тебе где голову приклонить!

– Не то что мы! – вздохнул Раницкий.

– Выпьем в утешение! – сказал Рекуц.

---

[6] Да здравствует! Ура! *(лат.)*

– Нет, не в утешение! – возразил Кульвец-Гиппоцентаврус. – А еще раз за здоровье Ендруся, нашего дорогого ротмистра! Это ведь он, ясновельможные, приютил в своем Любиче нас, бедных изгнанников, без крова над головой.

– Правильно говорит! – раздалось несколько голосов. – Не такой дурак Кульвец, как кажется.

– Тяжела наша доля! – пищал Рекуц. – Одна надежда, что ты нас, бедных сирот, за ворота не выгонишь.

– Полноте! – говорил Кмициц. – Что мое, то ваше!

При этих словах все повставали с мест и кинулись его обнимать. Слезы текли по суровым и пьяным лицам растроганных товарищей Кмицица.

– На тебя только надежда, Ендрусь! – кричал Кокосинский. – Дай хоть на гороховой соломе поспать, не гони!

– Полноте! – повторял Кмициц.

– Не гони! И без того нас выгнали, нас, родовитых шляхтичей! – жалобно кричал Углик.

– Сто чертей! Кто вас гонит? Ешьте, пейте, спите, какого пса вам еще надо?

– Ты, Ендрусь, не говори так, – ныл Раницкий, на лице которого выступили пятна, как на шкуре у рыси, – не говори так, Ендрусь, пропали мы ни за денежку…

Тут он оборвал речь, приставил палец ко лбу, словно напрягая мысль, и, оглядев бараньими глазами присутствующих, сказал вдруг:

– Разве только фортуна переменится!

И все закричали хором:

– А почему бы ей не перемениться!

– Мы еще за обиды заплатим!

– Добудем богатство!

– И почести!

– Бог благословляет невинных. За наше благополучие, ясновельможные!

– За ваше здоровье! – закричал Кмициц.

– Святые слова, Ендрусь! – произнес Кокосинский, подставляя ему свои пухлые щеки. – За наше счастье!

Чаши пошли вкруговую, вино в голову ударило. Все говорили разом, и никто никого не слушал; один только Рекуц свесил голову на грудь и дремал. Через минуту Кокосинский запел: «Лен я мялкою мяла!» Услышав песню, Углик достал из-за пазухи чакан и давай вторить, а Раницкий, великий фехтовальщик, голой рукой фехтовал с невидимым противником, повторяя вполголоса:

– Ты так, я так! Ты колешь, я мах! раз, два, три! шах!

Великан Кульвец-Гиппоцентаврус уставился на Раницкого и некоторое время следил за ним глазами, наконец махнул рукой и сказал:

– Дурак ты! Маши-маши, а против Кмицица на саблях тебе не устоять.

– Против него никто не устоит; ты вот попробуй!

– И со мной на пистолетах не выиграешь.

– Дукат за выстрел!

– Дукат! А цель?

Раницкий окинул глазами комнату, наконец крикнул, показывая на черепа:

– А вон между рогов! Дукат за выстрел!

– Куда? – спросил Кмициц.

– Между рогов! Два дуката! Три! Давайте пистолеты!

– Согласен! – крикнул пан Анджей. – Три так три! Зенд, неси пистолеты!

Все загалдели, стали препираться; Зенд тем временем вышел в сени и через минуту вернулся с пистолетами, мешком пуль и рогом пороха.

Раницкий схватил пистолет.

– Заряжен? – спросил он.

– Заряжен!

– Три! Четыре! Пять дукатов! – орал пьяный Кмициц.

– Тише! Промажешь! Промажешь!

– Попаду! Смотрите, вон в тот череп, между рогов… Раз, два!

Все обратили внимание на могучий череп лося, висевший напротив Раницкого; тот вытянул руку. Пистолет дрожал у него в руке.

– Три! – крикнул Кмициц.

Раздался выстрел, комнату наполнил пороховой дым.

– Промазал? Промазал! Вон где дыра! – кричал Кмициц, показывая рукой на темную стену, от которой пуля отколола щепку посветлей.

– До двух раз!

– Нет! Давай мне! – кричал Кульвец.

На звуки выстрелов сбежались испуганные слуги.

– Вон! Вон! – крикнул Кмициц. – Раз! Два! Три!

Снова раздался выстрел, на этот раз посыпались обломки костей.

– Давайте же и нам пистолеты! – закричали все вдруг.

Повскакав с мест, друзья стали бить кулаками слуг по загривкам, чтобы те поторопились. Не прошло и четверти часа, как вся комната наполнилась громом выстрелов. Дым заслонил свет свечей и фигуры стреляющих. Грому выстрелов вторил голос Зенда, который кричал вороном, клекотал соколом, выл волком и ревел туром. Его ежеминутно прерывал свист пуль, летели обломки черепов, щепки от стен и рам портретов; в суматохе шляхтичи стреляли и по Биллевичам, а Раницкий, разъярясь, рубил портреты саблей.

Изумленные, перепуганные слуги стояли в оцепенении, тараща глаза на эту потеху, больше похожую на татарский набег. Завыли и залаяли собаки. Весь дом поднялся. Во дворе собрались кучки людей. Дворовые девки подбегали к окнам и, прижавшись лицами к стеклу, приплюснув носы, смотрели, что творится в покое.

Все обратили внимание на могучий череп лося, висевший напротив Ранщкого; тот вытянул руку. Пистолет дрожал у него в руке.

Наконец их заметил Зенд; он свистнул так пронзительно, что у всех зазвенело в ушах, и крикнул:

– Ясновельможные! Девушки под окнами! Девушки!

– Девушки! Девушки!

– Давай плясать! – безобразно заорали шляхтичи.

Пьяная ватага через сени выбежала на крыльцо. Мороз не отрезвил разгоряченных голов. Девушки, истошно крича, разбежались по всему двору; шляхтичи ловили их и пойманных уводили в дом. Через минуту в дыму, среди обломков костей и щепок они пустились с девушками в пляс вокруг стола, на котором разлитое вино образовало целые озера.

Так потешались в Любиче Кмициц и дикая его ватага.

Глава III

Следующие несколько дней пан Анджей был ежедневным гостем в Водоктах и каждый раз возвращался, все больше млея от любви и восторга. Он и товарищам превозносил свою Оленьку до небес, пока в один прекрасный день не сказал им:

– Милые мои барашки, сегодня поедете на поклон, а потом мы уговорились с панной Александрой съездить всем в Митруны, на санях в лесу покататься и посмотреть третье наше поместье. В Митрунах панна Александра будет нас радушно принимать, ну а вы тоже ведите себя пристойно, смотрите, искрошу, если кто оплошает…

Кавалеры с радостью бросились одеваться, и вскоре четверо саней везли удалых молодцов в Водокты. Кмициц сидел в первых, очень красивых санях в виде серебристого медведя. Везла их калмыцкая тройка, захваченная в добычу, в пестрой упряжи с лентами и павлиньими перьями, по смоленской моде, которую смоляне переняли от восточных своих соседей. Кучер правил, сидя в медвежьей шее. Пан Анджей в бархатной зеленой бекеше на соболях, с золотыми застежками и в собольем колпачке с цапельными перьями, был весел, игрив. Вот что толковал он сидевшему рядом с ним Кокосинскому:

– Послушай, Кокошка! Покуролесили мы в эти вечера сверх всякой меры, особенно в первый вечер, когда досталось и черепам, и портретам. А с девками и того хуже. Вечно этот черт Зенд подстрекнет, а потом кому все отзовется? Мне! Боюсь, как бы люди болтать не стали, ведь о моем добром имени речь идет.

– Можешь на нем повеситься, больше оно, как и наше, ни на что не годится.

– А кто в том повинен, как не вы? Помни, Кокошка, через вас и оршанцы считали меня мятежной душой и зубы точили об меня, как ножи об оселок.

– А кто пана Тумграта по морозу прогнал, привязавши к коню? Кто зарубил того поляка из Коропы, который спрашивал, ходят ли оршанцы уже на двух ногах или все еще на четырех? Кто изувечил панов Вызинских, отца и сына? Кто разогнал последний сеймик?

– Сеймик я разогнал свой, оршанский, – это дело домашнее. Пан Тумграт, умирая, отпустил мне вину, а что до прочего, то нечего мне глаза колоть, драться на поединке может и самый невинный.

– Я тебе тоже не про все сказал и про сыск по двум делам не напомнил, что ждет тебя в войске.

– Не меня, а вас, потому я только в том повинен, что позволил вам грабить обывателей. Но довольно об этом. Заткни глотку, Кокошка, и словом не обмолвись обо всем этом Оленьке: ни о поединках, ни особенно о стрельбе по портретам да о девушках. Откроется что, я вину на вас взвалю. Я уж челядь упредил: пикни только кто, ремни велю из спины кроить.

– Ты уж, Ендрусь, и обротать себя дай, коли так своей девушки боишься. Дома ты был другой. Вижу я, вижу, быть бычку на веревочке, а это ни к чему! Один древний философ говорит: «Не ты Кахну, так Кахна тебя!» Попался ты уже в сети.

– Дурак ты, Кокошка! А с Оленькой и ты с ноги на ногу станешь переминаться, как ее увидишь, другой такой разумницы не сыщешь. Что хорошо, она тут же похвалит; что худо, не замедлит осудить, – она по совести судит, и на все у нее своя мера. Так ее покойный подкоморий воспитал. Захочешь перед ней удаль свою показать, похвастаешься, что закон попрал, так тебе же самому потом стыдно будет: она тотчас скажет тебе, что достойный гражданин не должен так поступать, что это против отчизны. Скажет, а тебе будто кто оплеуху дал и даже чудно станет, как ты раньше этого не понимал. Тьфу! Срам один! Набезобразничали мы, страшное дело, а теперь вот и хлопай глазами перед невинной и честной девушкой… Хуже всего эти девки!

– И вовсе не хуже. Я слыхал, что в здешних околицах шляхтянки кровь с молоком и, похоже, совсем не кобенятся.

– Кто тебе это говорил? – живо спросил Кмициц.

– Кто говорил? Да кто же, как не Зенд! Вчера он объезжал пегого скакуна и заехал в Волмонтовичи; только по дороге проехал, но увидал много девушек, они от вечерни шли. «Думал, говорит, с коня упаду, такие чистенькие да пригожие». И на какую ни взгляни, так сейчас все зубы тебе и покажет. И не диво! Шляхтичи, кто покрепче, все в Россиены ушли, вот девкам одним и скучно.

Кмициц толкнул товарища кулаком в бок:

– Давай, Кокошка, как-нибудь вечерком съездим, будто заблудились, а?

– А как же твое доброе имя?

– Ах, черт! Помолчал бы! Ладно, поезжайте одни, а лучше и вы не ездите! Шуму много будет, а я со здешней шляхтой хочу жить в мире, потому покойный подкоморий назначил их опекунами Оленьки.

– Ты говорил об этом, только я не хотел верить. Откуда у него такая дружба с сермяжниками?

– Он ходил с ними воевать, я еще в Орше слыхал, как он говорил, что у этих лауданцев храбрость в крови. Сказать по правде, Кокошка, и мне поначалу было удивительно, – старик их прямо как стражу приставил ко мне.

– Придется тебе подлаживаться к ним, в ножки кланяться.

– Да прежде их чума передушит! Помолчи уж, не гневи меня! Они мне будут кланяться и служить. Кликну клич – и хоругвь готова.

– Только кто-то другой будет ротмистром в этой хоругви. Зенд говорил, будто есть тут у них какой-то полковник. Забыл, как его звать… Володыёвский, что ли? Он под Шкловом ими командовал. Здорово, говорят, они дрались, но их же там и посекли!

– Слыхал я про какого-то Володыёвского, славного солдата… А вот и Водокты уж видно!

– Эх, и хорошо живется людям в этой Жмуди, – страх какой тут всюду порядок. Старик, видно, был ретивый хозяин. И усадьба, я вижу, прекрасная. Неприятель их тут не так часто палит, вот и строиться можно.

– Думаю, вряд ли успела она узнать об этих безобразиях в Любиче, – уронил словно про себя Кмициц. Затем он обратился к товарищу: – Приказываю тебе, Кокошка, а ты еще раз повтори всем прочим, что вести себя здесь надо пристойно. Пусть только кто позволит себе невежество, ей-ей, искрошу!

– Ну и оседлала же она тебя!

– Оседлала не оседлала, тебе до этого дела нет!

– Не гляди на невест, тебе дела до них нет! – невозмутимо сказал Кокосинский.

– Ну-ка, щелкни бичом! – крикнул кучеру Кмициц.

Кучер, стоявший в шее серебристого медведя, размахнулся бичом и щелкнул весьма искусно, другие кучера последовали его примеру, и под щелканье бичей санки весело и лихо подкатили к усадьбе, словно поезд на Масленой.

Сойдя с саней, все вошли сперва в небеленые сени, огромные, как амбар, откуда Кмициц проводил свою ватагу в столовый покой, убранный, как и в Любиче, звериными черепами. Тут все остановились, пристально и любопытно поглядывая на дверь в соседний покой, откуда должна была появиться панна Александра. А тем временем, памятуя, видно, предостережение Кмицица, беседовали друг с другом шепотом, как в костеле.

– Ты парень речистый, – шептал Кокосинскому Углик, – приветствуй ее от всех нас.

– Да я уж обдумывал по дороге речь, – сказал Кокосинский, – вот только не знаю, получится ли гладко, мне Ендрусь мешал думать.

– Лишь бы побойчей! Чему быть, того не миновать! Вот уже идет!..

Панна Александра в самом деле вошла в покой и на мгновение остановилась на пороге, точно удивленная такой многочисленной ватагой, да и Кмициц замер на мгновение, так поразила его красота девушки: до сих пор он видел ее только по вечерам, а днем она показалась ему еще краше. Глаза у нее были лазоревые, черные как смоль брови оттеняли белоснежное чело, льняные волосы блестели, как венец на голове королевы. И смотрела она смело, не потупляя взора, как хозяйка, принимающая гостей в своем доме, с ясным лицом, которое казалось еще ясней от черной шубки, опушенной горностаем. Эти забияки отродясь не видывали такой важной и гордой панны, они привыкли к женщинам иного склада, поэтому встали в шеренгу, как хоругвь на смотру, и, шаркая ногами, кланялись тоже всей шеренгой, а Кмициц шагнул вперед и, поцеловав девушке руку, сказал:

– Вот и привез я к тебе, сокровище мое, моих соратников, с которыми воевал на последней войне.

– Большая честь для меня, – ответила панна Биллевич, – принимать в своем доме столь достойных кавалеров, о храбрости которых и отменной учтивости я уже наслышана от пана хорунжего.

С этими словами она взялась кончиками пальцев за платье и, приподняв его, присела с необычайным достоинством, а Кмициц губу прикусил и даже покраснел оттого, что его любушка говорит так смело.

Достойные кавалеры шаркали ногами и в то же время подталкивали вперед Кокосинского:

– Ну же, выходи!

Кокосинский сделал шаг вперед, прокашлялся и начал так:

– Ясновельможная панна подкоморанка…

– Ловчанка, – поправил Кмициц.

– Ясновельможная панна ловчанка, милостивая наша благодетельница! – повторил в замешательстве пан Яромир. – Прости, вельможная панна, что в титуле ошибся…

– Пустая это ошибка, – возразила панна Александра, – и такому красноречивому кавалеру она ничуть не вредит…

– Ясновельможная панна ловчанка, милостивая наша благодетельница! Не знаю, что мне славить приличествует от всей Оршанской земли, то ли красоту твоей милости и твои добродетели, то ли несказанное счастье ротмистра и соратника нашего, пана Кмицица, ибо если бы даже воспарил я до облаков, вознесся до облаков… до самых, говорю, облаков…

– Да слезай уж с этих облаков! – крикнул Кмициц.

Все кавалеры при этом так и прыснули со смеху, но тут же, вспомнив наказ Кмицица, поднесли руки к усам.

Кокосинский вконец смешался, покраснел и сказал:

– Приветствуйте сами, идолы, коль меня смущаете!

Но панна Александра снова взялась кончиками пальцев за платье.

– Не сравняться мне с вами в красноречии, – сказала она, – одно только знаю, что недостойна я тех почестей, которые воздаете вы мне от имени всех оршанцев.

И она снова присела с необычайным достоинством, а оршанским забиякам не по себе стало в присутствии этой благовоспитанной панны. Они силились показать свою учтивость, но все у них как-то не получалось. Тогда они усы стали щипать, нести какую-то околесицу, руки класть на сабли, пока Кмициц не сказал наконец:

– Мы сюда целым поездом приехали, как на Масленой, хотим взять тебя, панна Александра, с собой и прокатить лесом в Митруны, как вчера уговорились. Санный путь чудесный, да и морозец Бог послал знатный.

– Я уже тетю послала в Митруны, чтобы она приготовила нам покушать. А сейчас подождите немного, я потеплей оденусь.

С этими словами она повернулась и вышла, а Кмициц подскочил к своим друзьям:

– А что, милые барашки, не княгиня?.. Что, Кокошка? Мне говорил: оседлала, а почему же сам как мальчишка стоял перед нею? Где ты видал такую?

– Нечего было надсмехаться; хоть и то надо сказать, не думал я, что придется держать речь перед такой особой.

– Покойный подкоморий, – сказал Кмициц, – больше с нею не дома, а в Кейданах живал, при дворе князя воеводы или у Глебовичей, там она и набралась придворных манер. А хорошато как, а? Да вы всё еще рот раскрыть не можете!

– Показали себя дураками! – со злостью воскликнул Раницкий. – Но самый большой дурак – Кокосинский!

– Ах ты, предатель! Меня небось локтем подталкивал, а надо было самому с твоей рябой рожей попробовать!

– Мир, барашки, мир! – сказал Кмициц. – В восторг приходить можете, а браниться – нельзя.

– Я бы за нее в огонь и воду! – воскликнул Рекуц. – Руби голову, Ендрусь, с плеч, я от своих слов не откажусь!

Однако Кмициц и не думал рубить ему голову с плеч, напротив, он был доволен, крутил ус и победоносно поглядывал на друзей. Тем временем вошла панна Александра в куньей шапочке, под которой ее белое личико казалось еще белей. Все вышли на крыльцо.

– Мы в этих санях поедем? – спросила панна Александра, показывая на серебристого медведя. – Отроду таких красивых саней не видывала.

– Не знаю, кто на них раньше ездил, это добыча. Теперь мы вдвоем с тобой будем ездить, и они очень нам придутся, – ведь у меня в гербе нарисована панна на медведе. Есть еще другие Кмицицы, по прозванию Хоругви, те, что ведут свой род от Филона Кмиты Чарнобыльского, но он не из того дома, от которого пошли Великие Кмиты.

– Когда же ты, пан Анджей, добыл этого медведя?

– А теперь вот, в этой войне. Мы, бедные exules[7], потеряли все богатства, наше только то, что даст в добычу война. Ну а я верой и правдой служил этой владычице, вот она меня и наградила.

– Дай-то Бог тебе владычицу посчастливей, а то эта одного наградит, а у всей дорогой отчизны от нее слезы льются.

– Один Бог переменит это да гетманы.

С этими словами Кмициц закутал панне Александре ноги белой волчьей полостью, крытой белым же сукном, затем уселся сам, крикнул кучеру: «Трогай!» – и тройка рванула и понесла.

От скачки морозный воздух захватил дыхание, и они смолкли; слышен был только свист мерзлого снега под полозьями, фырканье лошадей, топот копыт и крик кучера.

Наконец пан Анджей склонился к Оленьке:

– Хорошо ли тебе, панна Александра?

– Хорошо, – ответила она, подняв муфту и прижав ее к губам, чтобы ветер не захватывал дух.

Сани летели стрелой. День был ясный, морозный. Снег сверкал так, словно кто искрами сыпал, над белыми кровлями хат, похожих на снежные сугробы, высокими столбами поднимался, алея, дым. Стаи воронья с громким карканьем носились впереди саней, между безлистых придорожных деревьев.

Отъехав с версту от Водоктов, свернули на широкую дорогу, в темный бор, который стоял безмолвный, седой и тихий, словно спал под шапками инея. Деревья, мелькая перед глазами,

[7] Изгнанники *(лат.)*.

казалось, убегали куда-то назад, а сани неслись все быстрей и быстрей, точно у коней выросли крылья. Есть упоение в такой езде, кружится от нее голова, закружилась она и у панны Александры. Откинувшись назад, она закрыла глаза, вся отдавшись стремительному бегу. Грудь стеснило сладкое томленье, и почудилось ей, что этот оршанский боярин похитил ее и мчится вихрем, а она млеет и нет у нее сил ни противиться, ни кричать… А кони летят все быстрей и быстрей… И слышит Оленька, обнимают ее чьи-то руки… слышит, наконец, жаркий, как пламя, поцелуй на губах. И невмочь девушке открыть глаза, она как во сне. А кони летят, летят! Сонную девушку разбудил только голос, спрашивавший:

– Любишь ли ты меня?

Она открыла глаза:

– Как свою душу!

– А я не на жизнь, а на смерть!

Снова соболий колпак Кмицица склонился над куньей шапочкой Оленьки. Она сама не знала теперь, что же слаще: поцелуи или эта волшебная скачка?

И они летели дальше все бором и бором! Деревья убегали назад целыми полками. Снег скрипел, фыркали кони, а они были счастливы.

– Я бы до конца света хотел так скакать! – воскликнул Кмициц.

– Что мы делаем? Это грех! – шепнула Оленька.

– Ну какой там грех. Дай еще погрешить.

– Больше нельзя. Митруны уже недалеко.

– Близко ли, далёко ли – все едино!

И Кмициц встал на санях, поднял руки вверх и закричал так, словно грудь его не могла вместить всей радости:

– Эй-эй! Эй-эй!

– Эй-эй! О-го-го! – откликнулись друзья с задних саней.

– Что это вы так кричите? – спросила девушка.

– Просто так! От радости! Крикни же и ты, Оленька!

– Эй-эй! – раздался звонкий и тоненький голосок.

– Моя ты королева! В ноги тебе упаду!

– Товарищи будут смеяться.

После упоения их охватило веселье, шумное, сумасшедшее, как сумасшедшей была и скачка. Кмициц запел:

Девица красная в поле глядит,
В чистое поле!
– Конница, мама, из лесу летит.
О, моя доля!
– Дочка, на рыцарей ты не гляди,
Пусть едут мимо!
Рвется сердечко твое из груди
Следом за ними!

– Пан Анджей, кто научил тебя такой красивой песне? – спрашивала панна Александра.

– Война, Оленька. Мы ее в стане от тоски певали.

Но тут разговор прервал отчаянный крик с задних саней:

– Стой! Стой! Эй, стой!

Пан Анджей повернулся, рассерженный и удивленный тем, что друзья вздумали вдруг звать и останавливать их, и в нескольких десятках шагов от саней увидел всадника, который мчался к ним во весь опор.

– Иисусе Христе! Да это мой вахмистр Сорока: должно быть, что-то стряслось! – сказал пан Анджей.

Вахмистр тем временем подскакал к ним и, осадив коня так, что тот присел на задние ноги, крикнул, задыхаясь:

– Пан ротмистр!..

– Что случилось, Сорока?

– Упиту жгут, дерутся!

– Господи Иисусе! – вскрикнула панна Александра.

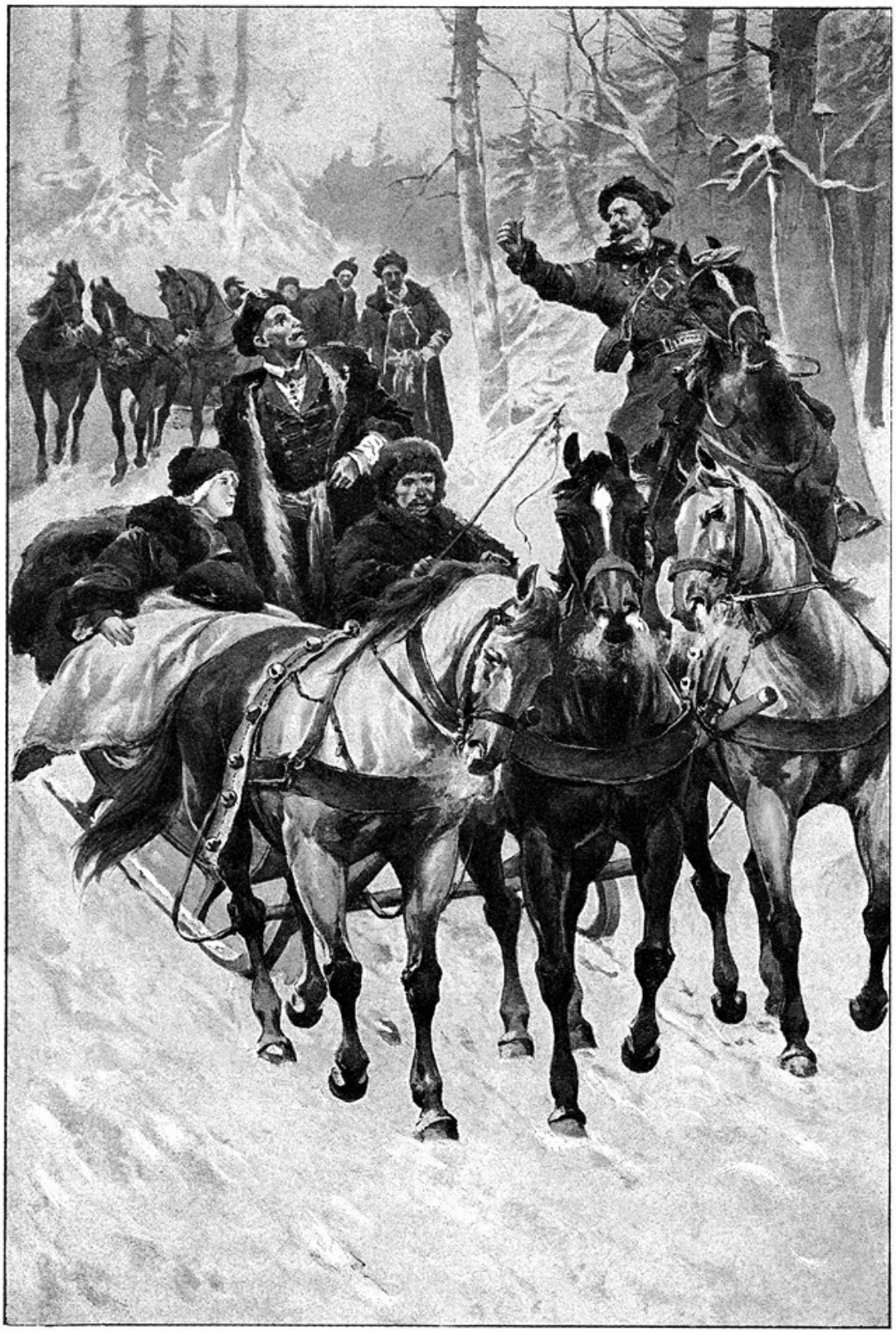
– Не бойся, Оленька!.. Кто дерется?

– Солдаты с мещанами. В рынке пожар! Мещане заперлись там и послали в Поневеж за гарнизоном, а я сюда прискакал, к твоей милости. Прямо дух захватило…

Пока они разговаривали, подъехали сани, которые шли позади; Кокосинский, Раницкий, Кульвец-Гиппоцентаврус, Углик, Рекуц и Зенд соскочили в снег и окружили Кмицица и Сороку.

– Откуда сыр-бор загорелся? – спрашивал Кмициц.

– Мещане не хотели давать ни припасу людям, ни корма лошадям, ассигновок будто бы не было; ну солдаты и стали брать силком. Мы в рынке осадили бурмистра да тех мещан, что заперлись с ним. Стрельба началась, ну мы два дома и подожгли; гвалт теперь страшный, и в набат бьют…



Вахмистр тем временем подскакал к ним и, осадив коня так, что тот присел на задние ноги, крикнул, задыхаясь…

Глаза Кмицица загорелись гневом.

– Надо и нам идти на помощь! – крикнул Кокосинский.

– Потопчем сиволапое войско! – кричал Раницкий, у которого все лицо пошло красными, белыми и темными пятнами. – Шах, шах, ясновельможные!

Зенд захохотал совершенно так, как хохочет филин, даже лошади испугались, а Рекуц поднял глаза и пропищал:

– Бей, кто в Бога верует! Петуха пустить сиволапым!

– Молчать! – взревел Кмициц, так что эхо отдалось в лесу, а стоявший ближе всех Зенд покачнулся, как пьяный. – Вам там нечего делать! Никакой резни! Всем сесть в двое саней, мне оставить одни и ехать в Любич. Ждать там, – может, пришлю за подмогой.

– Как же так? – стал было возражать Раницкий.

Но пан Анджей ткнул его кулаком в зубы и только глазами сверкнул еще страшней.

– Не пикни у меня! – грозно сказал он.

Все примолкли; видно, боялись его, хотя обычно держались с ним запанибрата.

– Возвращайся, Оленька, в Водокты, – сказал Кмициц, – или поезжай за теткой в Митруны. Вот и не удалось нам покататься. Я знал, что они не усидят там спокойно. Но сейчас ничего, поуспокоятся, только несколько голов слетит с плеч. Будь здорова, Оленька, и не тревожься, я буду к тебе поспешать…

С этими словами он поцеловал ей руки и закутал ее волчьей полостью, потом сел в другие сани и крикнул кучеру:

– В Упиту!

Глава IV

Прошло несколько дней, а Кмициц все не возвращался, зато в Водокты к панне Александре приехали на разведку трое лауданцев. Явился Пакош Гаштовт из Пацунелей, тот самый, у которого гостил пан Володыёвский, патриарх застянка, он знаменит был своим достатком и шестью дочерьми, из которых три были за Бутрымами и в приданое, кроме всего прочего, получили по сотне серебряных талеров. Приехал и Касьян Бутрым, самый старый старик на Лауде, хорошо помнивший Батория, а с ним зять Пакоша, Юзва Бутрым. Хоть Юзва и был в цвете сил – ему едва ли минуло пятьдесят, – однако в Россиены с ополчением он не пошел, так как на войне с казаками у него пушечным ядром оторвало ступню. По этой причине его прозвали Хромцом или Юзвой Безногим. Страшный это был шляхтич, медвежьей силы и большого ума, ворчун и судья решительный и строгий. За это шляхта в округе побаивалась его, не умел он прощать ни себе, ни другим. Когда ему случалось подвыпить, он становился опасен, но бывало это редко.

Эти-то лауданцы и приехали к панне Александре, которая приняла их ласково, хотя сразу догадалась, что явились они на разведку и хотят что-то выведать у нее о пане Кмицице.

– Мы хотим ехать к нему на поклон, а он, сдается, еще из Упиты не воротился, – говорил Пакош. – Вот мы и приехали к тебе, голубка, поспрошать, когда можно съездить к нему.

– Думаю, пан Анджей вот-вот приедет, – ответила им панна Александра. – Рад он вам будет, опекуны мои, всей душой, много слышал он про вас и когда-то от дедушки, и теперь от меня.

– Только бы не принял он нас так, как Домашевичей, когда те приехали к нему с вестью про смерть полковника! – угрюмо проворчал Юзва.

Но панна Александра услышала и тотчас ответила с живостью:

– Вы за это сердца на него не держите. Может, он и не совсем учтив был с ними, но вину свою признал. И то надо помнить, что он с войны шел, где столько принял трудов! Не диво, коль солдат и погорячится, нрав-то у них что сабля острая.

Пакош Гаштовт, который хотел жить в мире со всем светом, махнул рукой и сказал:

– Да мы и не дивились! Кабан на кабана и то рыкнет, когда вдруг повстречает, отчего же человеку на человека не рыкнуть! Мы, по старому обычаю, поедем в Любич на поклон к пану Кмицицу, чтобы жил он тут с нами, в походы с нами ходил да в пущу на охоту, как хаживал покойный пан подкоморий.

– Ты уж скажи нам, дитятко, пришелся ли он тебе по сердцу? – спросил Касьян Бутрым. – Наш это долг тебя спрашивать!

– Бог вознаградит вас за доброту. Достойный кавалер пан Кмициц, а когда б и не пришелся мне по сердцу, не пристало мне говорить об этом.

– А ты ничего за ним не заприметила, душенька?

– Ничего! Да и никто тут не имеет права судить его или, упаси бог, не верить ему! Возблагодарим лучше Господа Бога!

– Что тут до времени Господа Бога благодарить?! Будет за что, так поблагодарим, а не за что будет, так и благодарить не станем, – возразил мрачный Юзва, который, как истый жмудин, был очень осторожен и предусмотрителен.

– А про свадьбу был у вас разговор? – снова спросил Касьян.

Оленька потупилась:

– Пан Кмициц хочет поскорее…

– Ну, еще бы ему не хотеть, – проворчал Юзва, – дурак он, что ли! Где тот медведь, которому не хочется меду из борти? Только к чему спешить? Не лучше ли поглядеть, что он

за человек? Отец Касьян, вы уж скажите, что держите на уме, не дремлите, будто заяц в полдень в борозде!

– Не дремлю я, только думу думаю, как бы сказать об этом, – ответил старичок. – Господь Иисус Христос так сказал: как Куба Богу, так Бог Кубе! Мы тоже пану Кмицицу зла не желаем, пусть же и он нам не желает. Дай нам того, Боже, аминь!

– Был бы он только нам по душе! – прибавил Юзва.

Панна Биллевич нахмурила свои соболиные брови и сказала с некоторой надменностью:

– Помните, почтенные, нам не слугу принимать. Он тут будет господином, не наша, его воля тут будет. Он и в опеке вас сменит.

– Стало быть, чтобы нам больше не мешаться? – спросил Юзва.

– Стало быть, чтобы вам быть ему друзьями, как и он хочет быть вам другом. Он ведь тут об своем добре печется, а своим добром всяк волен распорядиться, как ему вздумается. Разве не правду я говорю, отец Пакош?

– Святую правду, – ответил пацунельский старичок.

А Юзва снова обратился к старому Бутрыму:

– Не дремлите, отец Касьян!

– Я не дремлю, только думу думаю.

– Так говорите, что думаете.

– Что я думаю? Вот что я думаю: знатен пан Кмициц, благородной крови, а мы люди худородные! К тому же солдат он славный: сам один пошел против врага, когда у всех руки опустились. Дай-то Бог нам таких побольше. Но товарищи у него отпетый народ! Пан сосед Пакош, вы от Домашевичей это слыхали? Подлые это люди, суд их чести лишил, в войске сыск их ждет и кара. Изверги они! Доставалось от них недругу, но не легче было и обывателю. Жгли, грабили, насильничали, вот что! Добро бы они зарубили кого, наезд учинили, это и с достойными людьми бывает, а ведь они, как татары, промышляли разбоем, и давно бы уж им по тюрьмам гнить, когда бы пан Кмициц им не покровительствовал, а он – сила! Он любит их и покрывает, а они вьются около него, как слепни летом около лошади. А теперь вот сюда приехали, и все уже знают, что это за люди. Ведь они в первый же день из пистолетов палили, и по кому же? По портретам покойных Биллевичей, чего пан Кмициц не должен был позволять, потому что они его благодетели.

Оленька заткнула уши руками:

– Не может быть! Не может быть!

– Как не может быть, коли так оно и было! Благодетелей своих позволил им перестрелять, с которыми породниться хотел! А потом затащили в дом дворовых девок для разврата! Тьфу! Грех один! Такого у нас не бывало! Первый же день со стрельбы начали и разврата! Первый же день!

Тут старый Касьян разгневался и стал стучать палкой об пол; лицо Оленьки залилось темным румянцем.

– А войско пана Кмицица, – вмешался в разговор Юзва, – которое осталось в Упите, оно что, лучше? Каковы офицеры, таково и войско! У пана Соллогуба скотину свели, – говорят, люди пана Кмицица; мейшагольских мужиков, которые везли смолу, на дороге избили. Кто? Они же. Пан Соллогуб поехал к пану Глебовичу бить челом об управе на них, а теперь вот в Упите шум! Богопротивное дело! Спокойно тут было, как нигде в другом месте, а теперь хоть ружье на ночь заряжай и дом стереги, а все почему? Потому что приехал пан Кмициц со своею ватагой!

– Отец Юзва, не говорите этого, не говорите! – воскликнула Оленька.

– А что же мне говорить! Ежели пан Кмициц ни в чем не повинен, тогда зачем он держит таких людей, зачем живет с такими? Скажи ему, вельможная панна, чтобы он прогнал их

или отдал в руки заплечному мастеру, не то не знать нам покоя. А слыханное ли это дело – стрелять по портретам и открыто распутничать с девками? Ведь вся округа только о том и говорит!

– Что же мне делать? – спрашивала Оленька. – Может, они и злые люди, но ведь он с ними на войну ходил. Разве он выгонит их, коли я его попрошу!

– А не выгонит, – проворчал про себя Юзва, – то и сам таковский!

Но тут гнев забурлил в крови девушки, зло взяло на этих друзей пана Кмицица, мошенников и забияк.

– Коли так, быть по-вашему! Он должен их выгнать! Пусть выбирает: я или они! Коли правда все, что вы говорите, а об том я еще сегодня узнаю, я им этого не прощу, ни стрельбы, ни распутства. Я одинокая девушка, слабая сирота, а их целая ватага с оружием, но я не побоюсь…

– Мы тебе поможем! – сказал Юзва.

– Боже мой! – говорила Оленька со все возрастающим негодованием. – Пусть себе делают, что хотят, только не здесь, в Любиче. Пусть себе остаются, какими хотят, это их дело, они головой за это ответят, но пусть не толкают пана Кмицица на разврат! Стыд и срам! Я думала, они грубые солдаты, а они, вижу, подлые предатели, которые позорят и себя, и его. Да, зло читалось в их глазах, а я, глупая, не увидела. Что ж! Спасибо вам, отцы, за то, что вы мне глаза открыли на этих иуд. Я знаю, что мне теперь делать.

– Да-да! – сказал старый Касьян. – Добродетель говорит твоими устами, и мы тебе поможем.

– Вы пана Кмицица не вините! Ежели он и поступает противу правил, так ведь он молод, а они его искушают, они его подстрекают, своим примером они толкают его на распутство и навлекают позор на его имя! Да, покуда я жива, этому больше не бывать!

Гнев все больше бурлил в крови Оленьки, и ненависть росла в ее сердце к друзьям пана Анджея, как боль растет в свежей ране. Тяжкая рана была нанесена и женской ее любви, и той вере, с какой она отдала пану Анджею свое чистое чувство. Стыдно ей было и за него, и за себя, а гнев и стыд искали прежде всего виноватых.

Шляхта обрадовалась, увидев, как грозна их панна и какой решительный вызов бросила она оршанским разбойникам.

А она продолжала, сверкая взорами:

– Да, они во всем виноваты и должны убраться не только из Любича, но и из здешних мест.

– Мы, голубка, тоже не виним пана Кмицица, – говорил старый Касьян. – Мы знаем, что это они его искушают. Не таим мы в сердце ни яда, ни злобы против него и приехали сюда, сожалея, что он держит при себе разбойников. Дело известное, молод, глуп. И пан староста Глебович смолоду глуп был, а теперь всеми нами правит.

– А возьмите пса? – растрогавшись, говорил кроткий пацунельский старичок. – Пойдешь с молодым в поле, а он, глупый, вместо того чтобы идти по следу зверя, у твоих ног, подлец, балует и за полы тебя тянет.

Оленька хотела что-то сказать и вдруг залилась слезами.

– Не плачь! – сказал Юзва Бутрым.

– Не плачь, не плачь! – повторяли оба старика.

Но как они ее ни утешали, а утешить не могли. После их отъезда остались печаль, тревога и обида и на них, и на пана Анджея. Больше всего гордую девушку уязвило то, что надо было вступаться за него, защищать его и оправдывать. А эта его ватага! Маленькие кулачки панны Александры сжались при мысли о них. Перед глазами ее встали лица Кокосинского, Углика, Зенда, Кульвец-Гиппоцентавруса и других, и она увидела то, чего раньше не замечала: что это были бесстыдные лица, на которых скоморошество, разврат и преступления оставили свою печать. Чуждое Оленьке чувство ненависти обожгло ей сердце.

Но в этом смятении духа с каждой минутой поднималась все горшая обида на пана Анджея.

– Стыд и срам! – шептала про себя девушка побелевшими губами. – Каждый вечер возвращался от меня к дворовым девкам!

Она чувствовала себя униженной. От невыносимой тяжести стеснялось дыхание в груди.

На дворе темнело. Панна Александра лихорадочным шагом ходила по покою, и все в ней кипело по-прежнему. Это не была натура, способная переносить удары судьбы и покоряться им. Рыцарская кровь текла в жилах девушки. Она хотела немедленно начать борьбу с этим легионом злых духов, – немедленно! Но что она может сделать? Ничего! Ей остается только плакать и молить, чтобы пан Анджей разогнал на все четыре стороны этих своих друзей, которые позорят его. А если он не захочет?

– Если не захочет?

Она еще не решалась подумать об этом.

Мысли девушки прервал слуга, который внес охапку можжевеловых дров и, бросив их у печи, стал выгребать угли из золы. Оленька внезапно приняла решение.

– Костек, – сказала она, – сейчас же садись на коня и скачи в Любич. Коли пан уже вернулся, попроси его приехать сюда, а нет его дома, пусть управитель, старый Зникис, сядет с тобой на коня и тотчас явится ко мне, – да поживее!

Парень кинул на угли смолистых щепок, присыпал их корневищами сухого можжевельника и бросился вон.

Яркое пламя вспыхнуло и загудело в печи. У Оленьки немного отлегло от сердца.

«Бог даст, все еще переменится, – подумала она про себя. – А может, все не так худо, как рассказывали опекуны. Посмотрим!»

Через минуту она вышла в людскую, чтобы, по дедовскому обычаю Биллевичей, посидеть со слугами, приглядеть за пряхами, спеть божественные песни.

Через два часа вошел продрогший Костек.

– Зникис в сенях, – сказал он, – пана в Любиче еще нет.

Панна Александра вскочила и стремительно вышла. Управитель в сенях поклонился ей в ноги:

– Каково поживаешь, ясновельможная панна? Дай тебе Бог здоровья!

Они прошли в столовый покой. Зникис остановился у двери.

– Что у вас слышно? – спросила панна Александра.

Мужик махнул рукой:

– Э, что там толковать! Пана дома нет.

– Я знаю, что он в Упите. Но что творится в доме?

– Э, что там толковать!

– Послушай, Зникис, говори смело, волос у тебя с головы не упадет. Говорят, пан хороший, только товарищи своевольники?

– Да, когда бы, ясновельможная панна, своевольники!

– Говори прямо.

– Да нельзя, панна… боюсь я. Мне не велено.

– Кто тебе не велел?

– Пан…

– Ах вот как? – сказала девушка.

На минуту воцарилось молчание. Панна Александра, сжав губы и насупя брови, быстро ходила по покою, Зникис следил за нею глазами.

Вдруг она остановилась перед ним:

– Ты чей?

– Я Биллевичей. Не из Любича я, из Водоктов.

– В Любич больше не воротишься, тут останешься. А теперь приказываю тебе говорить все, что знаешь!

Мужик как стоял у порога, так и повалился ей в ноги:

– Ясновельможная панна, не хочу я туда ворочаться, там светопреставление! Разбойники они, грабители, там не то что за день, за час нельзя поручиться.

Панна Биллевич покачнулась, словно сраженная стрелой. Она страшно побледнела, однако спокойно спросила:

– Это правда, что они стреляли в доме по портретам?

– Как же не стреляли! И девок таскали в покои, что ни день – одно распутство. В деревне стон стоит, в усадьбе содом и гоморра! Волов режут к столу, баранов к столу! Людей давят. Конюха вчера безо всякой вины зарубили.

– И конюха зарубили?

– Да! А хуже всего девушек обижают. Дворовых им уже мало, ловят по деревне…

На минуту снова воцарилось молчание. Лицо у панны Александры пылало, и румянец уже больше не потухал.

– Когда ждут там пана?

– Не знаю, слыхал только я, как они между собой толковали, что завтра надо всем ехать в Упиту. Приказали, чтобы лошади были готовы. Должны сюда заехать, просить, чтобы дали им людей и пороху, будто там могут понадобиться.

– Должны сюда заехать? Это хорошо. Ступай теперь, Зникис, на кухню. В Любич ты больше не воротишься.

– Дай Бог тебе здоровья и счастья!

Панна Александра допыталась всего, что ей было нужно, и знала теперь, как ей поступить.

На следующий день было воскресенье. Утром, не успела еще панна Александра уехать с теткой в костел, явились Кокосинский, Углик, Кульвец-Гиппоцентаврус, Раницкий, Рекуц и Зенд, а вслед за ними мужики из Любича, все вооруженные и верхами, так как кавалеры решили идти на подмогу Кмицицу в Упиту.

Панна Александра вышла к ним спокойная и надменная, совсем не такая, как несколько дней назад, когда она приветствовала их; она едва головой кивнула в ответ на их униженные поклоны; но они подумали, что это она потому так осторожна, что с ними нет Кмицица, и ничего не заподозрили.

Ярош Кокосинский, который теперь стал смелее, выступил вперед и сказал:

– Ясновельможная панна ловчанка, благодетельница наша! Мы сюда заехали по дороге в Упиту, чтобы упасть к твоим ногам и просить об auxilia[8]: пороху надо нам и ружей, да вели своим людям седлать коней и ехать с нами. Мы Упиту возьмем штурмом и сделаем сиволапым маленькое кровопускание.

– Странно мне, – ответила им панна Биллевич, – что вы едете в Упиту, я сама слыхала, что пан Кмициц велел вам сидеть смирно в Любиче, а я думаю, что ему приличествует приказывать, а вам, как подчиненным, повиноваться.

Услышав эти слова, кавалеры с удивлением переглянулись. Зенд выпятил губы, точно хотел засвистеть по-птичьи, Кокосинский стал поглаживать широкой ладонью голову.

– Клянусь Богом, – сказал он, – кто-нибудь мог бы подумать, что ясновельможная панна говорит с обозниками пана Кмицица. Это верно, что мы должны были сидеть дома, но ведь уже идет четвертый день, а Ендруся все нет, вот мы и подумали: видно, там такая сумятица поднялась, что пригодились бы и наши сабли.

[8] Помощи, подкреплении *(лат.)*.

– Пан Кмициц не воевать поехал, а наказать смутьянов-солдат, что и с вами легко может статься, коли вы нарушите приказ. Да и сумятица и резня там скорее начнутся при вас.

– Трудно нам, ясновельможная панна, рассуждать об этом с тобой. Мы просим только пороху и людей.

– Людей и пороху я не дам, слышишь, пан, не дам!

– Не ослышался ли я? – воскликнул Кокосинский. – Как это не дашь? Пожалеешь для спасения Кмицица, Ендруся? Хочешь, чтобы с ним беда приключилась?

– Горше нет беды для него, как ваша компания!

Глаза девушки блеснули гневом; подняв голову, она сделала несколько шагов к забиякам; те в изумлении попятились от нее.

– Предатели! – воскликнула она. – Вы, как бесы, вводите его в грех, вы его искушаете! Но я уже все знаю про вас, про ваше распутство, про ваши бесчинства. Суд ищет вас, люди от вас отворачиваются, а на чью голову падает позор? На его! И все из-за вас, изгнанников, негодяев!

– Иисусе Христе! Вы слышите, друзья? – крикнул Кокосинский. – Что же это такое? Уж не сон ли это, друзья?

Панна Биллевич сделала еще один шаг и показала рукой на дверь.

– Вон отсюда! – сказала она.

Мертвенная бледность покрыла лица забияк, ни один из них не смог слово выговорить в ответ. Они только зубами заскрежетали в ярости, и глаза их зловеще блеснули, а руки готовы были судорожно схватиться за сабли. Но через мгновение страх обнял их души. Ведь этот дом находился под покровительством могущественного Кмицица, эта дерзкая девушка была его невестой. Молча подавили они гнев, а она все еще стояла, сверкая взорами, и показывала пальцем на дверь.

Наконец Кокосинский процедил, захлебываясь от бешенства:

– Что ж, коли нас тут так мило встречают… нам не остается ничего другого, как поклониться учтивой хозяйке… поблагодарить за гостеприимство и уйти.

С этими словами он поклонился с нарочитой униженностью, метя шапкою пол, за ним стали кланяться остальные и выходить один за другим вон. Когда дверь закрылась за последним, Оленька, тяжело дыша, в изнеможении опустилась в кресло; силы оставили ее, их оказалось меньше, чем храбрости.

А забияки, сойдя с крыльца, сбились толпою около лошадей, чтобы посоветоваться, как же быть; но никто не хотел первым взять слово.

Наконец Кокосинский сказал:

– Ну, каково, милые барашки?

– А что?

– Хорошо ли вам?

– А тебе хорошо?

– Эх, когда бы не Кмициц! Эх, когда бы не Кмициц! – произнес Раницкий, судорожно потирая руки. – Мы бы тут с паненкой по-свойски погуляли!

– Поди тронь Кмицица! – пропищал Рекуц. – Сунься против него!

Лицо у Раницкого пошло пятнами, как шкура рыси.

– И сунусь, и против него, и против тебя, забияка, где хочешь!

– Вот и хорошо! – сказал Рекуц.

Оба схватились было за сабли, но великан Кульвец-Гиппоцентаврус встал между ними.

– Вот этим кулаком, – сказал он, потрясая кулачищем с каравай хлеба, – вот этим кулаком, – повторил он, – я первому, кто выхватит саблю, голову размозжу!

Тут он стал поглядывать то на Рекуца, то на Раницкого, как бы вопрошая, кто же первый хочет попробовать; но они после такого немого вопроса тотчас успокоились.

– Кульвец прав! – сказал Кокосинский. – Милые мои, мир сейчас нам нужен больше, чем когда-либо. Мой совет: скакать к Кмицицу, да поскорее, чтобы она раньше нас его не увидала, не то распишет нас как чертей. Хорошо, что никто не зарычал на нее, хоть у меня самого чесались и язык, и руки. Едем же к Кмицицу. Она хочет вооружить его против нас, так уж лучше мы его сперва вооружим. Не приведи бог, чтобы он нас покинул. Шляхта тотчас устроит на нас облаву, как на волков.

– Глупости! – отрезал Раницкий. – Ничего она нам не сделает. Теперь война, мало, что ли, людей шатается по белу свету без приюта и без куска хлеба? Соберем ватагу, милые друзья, и пусть гонятся за нами все трибуналы! Дай руку, Рекуц, я тебя прощаю!

– Я бы тебе уши обрубил! – пропищал Рекуц. – Ну да уж ладно, помиримся! Обоих нас одинаково осрамили!

– Выгнать вон таких кавалеров! – воскликнул Кокосинский.

– Меня, в чьих жилах течет сенаторская кровь! – подхватил Раницкий.

– Людей достойных! Родовитых шляхтичей!

– Заслуженных солдат!

– И изгнанников!

– Невинных сирот!

– Сапоги у меня на смушках-выпортках, а ноги все равно уже мерзнут, – сказал Кульвец. – Что это мы, как нищие, стоим перед домом, гретого пива нам все равно не вынесут! Нечего нам тут делать. Давайте садиться на конь и ехать! Людей лучше отошлем, ни к чему они нам без оружия, а сами поедем.

– В Упиту!

– К Ендрусю, достойному другу! Ему пожалуемся!

– Только бы нам не разминуться с ним.

– По коням, друзья, по коням!

Они сели и медленно тронулись, кипя гневом и сгорая от стыда. За воротами Раницкий, у которого от злобы все еще сжималось горло, повернулся и погрозил дому кулаком:

– Крови жажду, крови!

– Пусть бы она только с Кмицицем поссорилась, – сказал Кокосинский, – мы бы сюда с трутом приехали.

– Все может статься.

– Дал бы Бог! – прибавил Углик.

– Чертова девка! Змея подколодная!

Так, браня и проклиная на все лады панну Биллевич, а порою ворча и друг на дружку, доехали они до леса. Едва вступили они в его недра, как огромная стая воронья закружилась над их головами. Зенд тотчас пронзительно закаркал; тысячи голосов ответили ему сверху. Стая спустилась так низко, что лошади стали шарахаться, пугаясь шума крыльев.

– Заткни глотку! – крикнул Зенду Раницкий. – Еще беду накаркаешь! Каркает над нами это воронье, как над падалью…

Но другие смеялись, и Зенд по-прежнему каркал. Воронье спускалось все ниже, и они ехали так словно средь бури. Глупцы! Не могли разгадать дурного предзнаменования.

За лесом уже показались Волмонтовичи, и кавалеры перешли на рысь, потому что мороз был сильный и они очень озябли, а до Упиты было еще далеко. Но в самой деревне они вынуждены были убавить ходу. Как всегда по воскресеньям, на широкой дороге застянка было полно народу. Бутрымы с женами и дочками возвращались пешком или на санях из Митрун от обедни. Шляхта с любопытством глазела на незнакомых всадников, смутно догадываясь, кто это такие. Молодые шляхтянки уже слыхали про распутство в Любиче и про знаменитых грешников, привезенных паном Кмицицем, и потому смотрели на них с еще большим любопытством. А те, красуясь молодецкою выправкой, гордо ехали на своих скакунах, разодетые

в бархатные ферязи, захваченные в добычу, и рысьи колпаки. Видно было, что это заправские солдаты: важные да спесивые, правая рука в бок уперта, голова поднята вверх. Они никому не уступали дороги, ехали шеренгой, покрикивая время от времени: «Сторонись!» Кое-кто из Бутрымов бросал на них исподлобья угрюмый взгляд, но дорогу уступал; а кавалеры вели между собою разговор про застянок.

– Взгляни-ка, – говорил Кокосинский, – какие рослые парни: один к одному, как туры, а каждый волком смотрит.

– Когда бы не рост да не саблищи, их можно было бы принять за хамов, – сказал Углик.

– Нет, только поглядите на эти саблищи! – заметил Раницкий. – Сущие коромысла, клянусь Богом! Я бы не прочь с кем-нибудь из них побороться!

Тут пан Раницкий начал фехтовать голой рукой:

– Он вот так, а я так! Он вот так, а я так – и шах!

– Ты легко можешь доставить себе такое gaudium[9], – заметил Рекуц. – С ними это просто.

– А по мне, лучше побороться с теми вон девушками! – сказал вдруг Зенд.

– Уж и статны, не девушки, свечи! – с восторгом воскликнул Рекуц.

– Ну что это ты говоришь: свечи? Сосенки! А мордашки у всех ну прямо как шафраном нарумянены.

– Картина – на коне не усидишь!

Беседуя таким образом, они выехали из застянка и снова наддали ходу. Через полчаса подскакали к корчме под названием «Долы», которая лежала на полдороге между Волмонтовичами и Митрунами. В этой корчме на пути в костел и из костела Бутрымы в морозные дни останавливались обычно отдохнуть и погреться. Вот почему кавалеры увидели перед корчмой десятка два саней, застеленных гороховой соломой, и столько же лошадей под седлом.

– Давайте выпьем горелки, а то холодно! – сказал Кокосинский.

– Не мешало бы! – раздался в ответ дружный хор голосов.

Всадники спешились, привязали лошадей к коновязям, а сами вошли в огромную и темную избу. Там они застали пропасть народу. Сидя на лавках или стоя кучками перед стойкой, шляхтичи попивали гретое пиво, а кое-кто и горячий мед, варенный на масле, водке и пряностях. Тут были одни Бутрымы, мужики рослые, угрюмые и такие молчаливые, что в корчме почти не слышно было говора. Все они были одеты в бараньи полушубки, крытые серым понитком или грубым россиенским сукном, и подпоясаны кожаными поясами, все при саблях в черных железных ножнах; в одинаковой этой одежде они казались солдатами. Но это были либо люди немолодые, которым уже перевалило за шестьдесят, либо юноши, не достигшие и двадцати лет. Они остались дома для зимнего обмолота, а все мужчины в цвете сил уехали в Россиены.

Увидев оршанских кавалеров, Бутрымы отодвинулись от стойки и стали на них поглядывать. Красивый рыцарский наряд понравился воинственной шляхте; порою кто-нибудь ронял: «Это из Любича?» – «Да, ватага пана Кмицица!» – «Ах это те!» – «Они самые!»

Кавалеры пили горелку; но уж очень пахло в корчме горячим медом. Первым учуял его Кокосинский и велел подать. Друзья уселись за стол и, когда им принесли дымящийся чугунок, стали попивать мед, оглядывая избу и шляхту и щуря при этом глаза, потому что в избе было темновато. Окна замело снегом, а длинное низкое чело печи, в которой горел огонь, совсем заслонили чьи-то фигуры, обращенные к избе спинами.

Когда мед заиграл в жилах кавалеров, разнося по телу приятное тепло, и они воспрянули духом и забыли о приеме, оказанном им в Водоктах, Зенд так похоже закаркал вдруг вороном, что все лица обратились на него.

[9] Удовольствие, радость *(лат.)*.

Кавалеры смеялись, шляхтичи, развеселясь, стали подвигаться поближе, особенно молодежь, крепкие парни, широкоплечие и круглощекие. Люди, сидевшие у огня, повернулись, и Рекуц первый увидел, что это девушки.

А Зенд закрыл глаза и каркал, каркал, дотом вдруг перестал, и через минуту присутствующие услышали голос зайца, которого душат собаки; заяц хрипел при последнем издыхании все слабее и тише, потом взвизгнул отчаянно и смолк навеки, а вместо него взревел, ярясь, сохатый.

Бутрымы застыли в изумлении, хотя Зенд уже умолк. Они надеялись услышать еще что-нибудь, однако на этот раз услышали только писклявый голос Рекуца:

– Девушки сидят около печи!

– В самом деле! – сказал Кокосинский, прикрывая рукой глаза.

– Клянусь Богом, – подхватил Углик, – только здесь так темно, что я не мог разглядеть.

– Любопытно знать, что они тут делают?

– Может, пришли на танцы?

– Погодите, я спрошу у них! – сказал Кокосинский. Повысив голос, он спросил: – Милые девушки, что это вы делаете около печи?

– Ноги греем, – раздались тонкие голоса.

Тогда кавалеры поднялись и подошли поближе к очагу. На длинной лавке сидело с десяток девушек, постарше и помоложе, поставив босые ноги на колоду, лежавшую у огня. С другой стороны колоды сушились сапоги, промокшие от снега.

– Так это вы ноги греете? – спросил Кокосинский.

– Да, озябли.

– Прехорошенькие ножки! – пропищал Рекуц, нагибаясь к колоде.

– Да отвяжись ты, пан! – сказала одна из шляхтянок.

– Я бы не отвязаться рад, а привязаться, потому знаю надежное средство получше огня, чтобы разогреть озябшие ножки. Вот оно какое мое средство: поплясать в охотку, и ознобу как не бывало!

– Поплясать так поплясать! – сказал Углик. – Не надо ни скрипки, ни контрабаса, я вам на чакане сыграю.

И, добыв из кожаного футляра, висевшего у сабли, свой неизменный инструмент, он заиграл, а кавалеры с приплясом двинулись к девушкам и давай тащить их с лавки. Те как будто оборонялись, но не очень, так, визжали только, потому что на самом деле не прочь были поплясать. Может, и шляхтичам тоже припала бы охота, потому что поплясать в воскресенье, после обедни, да еще на Масленой, не возбраняется, но слава о «ватаге» докатилась уже и до Волмонтовичей, поэтому великан Юзва Бутрым, тот самый, у которого оторвало ступню, первый поднялся с лавки и, подойдя к Кульвец-Гиппоцентаврусу, схватил его за шиворот, остановил и угрюмо сказал:

– Коли припала охота поплясать, так не пойдешь ли со мной?

Кульвец-Гиппоцентаврус прищурил глаза и грозно встопорщил усы.

– Нет, уж лучше с девушкой, – ответил он, – а с тобой разве потом…

Но тут подбежал Раницкий, лицо у него уже пошло пятнами, он почуял драку.

– А это еще что за бродяга? – спросил он, хватаясь за саблю.

Углик бросил играть, а Кокосинский крикнул:

– Эй, друзья, в кучу! В кучу!

Но за Юзвой бросились уже Бутрымы, могучие старики и парни-великаны; они тоже сбились в кучу, ворча, как медведи.

– Вы чего хотите? Шишки набить? – спрашивал Кокосинский.

– Э, что там с ними толковать! Пошли прочь! – невозмутимо сказал Юзва.

В ответ на эти слова Раницкий, который больше всего боялся, как бы дело не обошлось без драки, ударил Юзву рукоятью в грудь, так что эхо отдалось в избе, и крикнул:

– Бей!

Сверкнули рапиры, раздался женский крик и лязг сабель, шум поднялся и суматоха. Но тут великан Юзва, выбравшись из свалки, схватил стоявшую у стола грубо отесанную лавку и, подняв ее вверх, как легонькую дощечку, крикнул:

– Дуй его! Дуй!

Пыль поднялась с земли и заслонила дерущихся; в суматохе только стали слышны стоны…

Глава V

В тот же день вечером в Водокты приехал Кмициц, ведя с собою из Упиты добрую сотню солдат, чтобы отослать их к великому гетману в Кейданы; он сам увидел теперь, что в таком маленьком городе, как Упита, не разместишь столько народу, что, приев хлеб у горожанина, солдат вынужден насильничать, особенно такой солдат, удержать которого в повиновении может только страх перед начальником. Достаточно было одного взгляда на охотников Кмицица, чтобы убедиться в том, что хуже людей не сыщешь во всей Речи Посполитой. Да иных у Кмицица и быть не могло. Разбив великого гетмана, неприятель завладел всем краем. Остатки регулярного литовского войска отошли на время в Биржи и Кейданы, чтобы там оправиться после поражения. Смоленская, витебская, полоцкая, мстиславская и минская шляхта либо доследовала за войском, либо укрывалась в воеводствах, еще не захваченных врагом. Те же из шляхты, кто был смелее духом, стали собираться к подскарбию Госевскому в Гродно, где королевскими универсалами был назначен сбор шляхетского ополчения. Увы, не много нашлось таких, кто внял универсалам, да и те, что подчинились велению долга, собирались так медленно, что все это время никто не давал отпора врагу, кроме Кмицица, который делал это на собственный страх, побуждаемый не столько любовью к отчизне, сколько рыцарской удалью и молодечеством. Легко понять, что за недостатком регулярных войск и шляхты он брал кого попало, то есть таких людей, которые не обязаны были идти к гетманам в войско и которым нечего было терять. Набежали тогда к нему бродяги без крова и пристанища, людишки подлого рода, холопы, бежавшие из войска, одичалые лесовики, городская челядь да разбойнички, которых преследовал закон. Все они надеялись найти в хоругви Кмицица защиту да вдобавок поживиться добычей. В железных руках своего начальника они превратились в храбрых солдат, храбрых до отчаянности, и будь сам Кмициц человеком степенным, они много могли бы сделать для блага Речи Посполитой. Но Кмициц сам был своевольник, у которого вечно кипела душа, да откуда было взять ему провиант, оружие и лошадей, если он, охотник, не имевший даже королевских грамот на вербовку войска, не мог надеяться на самую малую помощь от казны Речи Посполитой. Брал поэтому силой и с неприятеля, и со своих. Сопротивления не терпел и за всякую попытку противодействия расправлялся без пощады.

В постоянных наездах, битвах и набегах он одичал и так привык к кровопролитию, что сердце его, от природы доброе, нелегко было теперь растрогать. Полюбились ему люди, на все готовые, необузданные. Вскоре само имя его стало внушать страх. В той стороне, где рыскал грозный партизан, небольшие вражеские отряды не смели носа высунуть из городов и станов. Но и обыватели, разоренные войной, боялись его ватаги не меньше, чем неприятеля. Когда люди Кмицица не были у него на глазах, когда над ними начальствовали его офицеры: Кокосинский, Углик, Кульвец, Зенд и особенно Раницкий, невзирая на свое высокое происхождение, самый дикий и жестокий из них, – тогда и впрямь можно было усомниться, а защитники ли это отчизны, не враги ли ее. Под сердитую руку Кмициц, случалось, карал без пощады и своих людей, но чаще брал их сторону, не глядя ни на закон, ни на слезы, не щадя человеческой жизни.

Товарищи, кроме Рекуца, на котором не тяготела невинная кровь, только подстрекали молодого предводителя, чтобы он давал еще больше воли своему буйному нраву.

Такое-то войско было у Кмицица.

Теперь он увел свою голытьбу из Упиты, чтобы отослать ее в Кейданы. Когда солдаты остановились в Водоктах перед усадьбой, панна Александра в ужас пришла, увидев их в окно, так живо напоминали они разбойников. Пестрое это было сборище: кто в шлеме, захваченном у неприятеля, кто в казачьей шапке или колпаке, кто в выцветшей ферязи, кто в тулупе, с ружьями, копьями, луками и бердышами, на тощих, заиндевелых лошаденках под польскими,

московскими и турецкими чепраками. Успокоилась она только тогда, когда пан Анджей, красивый и веселый, как всегда, вбежал в покой и тотчас с жаром приник к ее руке.

Хотя Оленька и решила принять пана Анджея с суровой холодностью, однако при виде его не могла сдержать порыв радости. А может, была в этом и женская хитрость, – ведь ей надо было сказать пану Анджею, что она выгнала за дверь его ватагу, вот лукавая девушка и решила привлечь его сперва на свою сторону. Да и приветствовал он ее так горячо, с такой любовью, что сердце ее растаяло, как снег от огня.

«Любит он меня! Нет в том сомнения!» – подумала девушка.

А он говорил:

– Так я стосковался, что всю Упиту хотел спалить, только бы поскорее прилететь к тебе. Чтоб их мороз задавил, этих сиволапых!

– Я тоже беспокоилась, как бы у тебя там дело не дошло до битвы. Слава богу, ты приехал.

– Э, какая там битва! Солдаты стали было трепать сиволапых!..

– Но ты их утихомирил?

– Сейчас все тебе расскажу, мое сокровище, только вот присяду, а то очень устал. Ах, и тепло же здесь у тебя, ах, и хорошо же в этих Водоктах, прямо как в раю. Век бы тут сидел, глядел бы в эти очи милые и никуда не уезжал!.. Но выпить чего-нибудь горяченького тоже не помешало бы, мороз на улице лютый.

– Сейчас прикажу согреть вина с яйцами и сама принесу.

– Дай же и моим висельникам бочонок горелки и вели пустить их в коровник, чтобы они хоть от коровьего духу погрелись. Одежонка у них подбита ветерком, совсем они закоченели.

– Ничего для них не пожалею, это же твои солдаты.

При этих словах она так улыбнулась, что у Кмицица даже взор прояснел, и исчезла тихо, как кошечка, чтобы в людской отдать распоряжения.

Кмициц ходил по покою, то поглаживая свою чуприну, то крутя молодой ус, и раздумывал о том, как же рассказать ей о том, что произошло в Упите.

– Надо правду сказать, начистоту, – бормотал он про себя, – ничего не поделаешь, хоть и будут смеяться товарищи, что бычок уже на веревочке.

И снова ходил, и снова чуприну пятерней начесывал на лоб, наконец потерял терпенье оттого, что девушка долго нейдет.

Но тут слуга внес свет, поклонился в пояс и вышел, а потом сразу же вошла красавица-хозяюшка, держа обеими руками блестящий оловянный поднос с горшочком, над которым поднимался ароматный пар разогретого венгерского, и чаркой граненого стекла с гербом Кмицицев. Старый Биллевич получил ее в подарок от отца пана Анджея, когда был у них в гостях.

Пан Анджей, увидев хозяюшку, подбежал к ней.

– А! – воскликнул он. – Рученьки-то обе заняты, теперь не вырвешься.

И перегнулся через поднос, а она запрокидывала свою светлую головку, которую защищал только пар, поднимавшийся над горшочком.

– Изменщик! Оставь, оставь же, а то вино уроню!..

Но он не испугался этой угрозы.

– Клянусь Богом, – воскликнул он наконец, – от таких утех разум может помутиться!

– Он у тебя давно уж помутился… Садись же, садись!

Он послушно сел, она налила ему чарку вина.

– Ну, рассказывай теперь, как ты в Упите суд чинил над виновными?

– В Упите? Как Соломон!

– Вот и слава богу! Очень мне хочется, чтобы все в округе почитали тебя человеком достойным и справедливым. Так как же все было?

Кмициц отхлебнул изрядный глоток вина и сказал со вздохом:

– Придется сначала начать. Вот как было дело: сиволапые со своим бурмистром требовали ассигновок на припас от великого гетмана или от пана подскарбия. «Вы охотники, – говорили они солдатам, – и поборов чинить не можете. На постой мы вас пустили из милости, а припас дадим, когда видно будет, что нам заплатят».

– Были они правы или нет?

– По закону они были правы, но у солдат были сабли, а, по старому обычаю, у кого сабли, тот всегда больше прав. Говорят тогда солдаты сиволапым: «Вот мы вам на вашей же шкуре выпишем ассигновки!» Ну тут и поднялся содом. Бурмистр с сиволапыми загородились в улице, а мои стали их добывать; не обошлось и без стрельбы. Подожгли бедняги-солдатики для устрашения парочку риг, ну и из сиволапых кое-кого успокоили…

– Как это успокоили?

– Да уж кто получит саблей по голове, тот спокоен, как кролик.

– Иисусе Христе, это же убийство!

– Потому я туда и поехал. Солдаты тотчас ко мне с жалобами на утеснения: вот, мол, в какой мы крайности живем, вот, мол, как нас безо всякой вины преследуют. «Животы у нас пустые, – говорят они, – что нам делать?» Велел я бурмистру явиться ко мне. Долго он думал, наконец пришел с тремя сиволапыми и давай плакаться: «Пусть бы уж и ассигновок не давали, а зачем же драться, зачем город палить? Пить-есть мы бы дали им за спасибо, так ведь им сала подай, меду да лакомств, а у нас, бедных людей, у самих этого нет. Мы на них управы будем искать, а твоей милости за своих солдат придется перед судом ответить».

– Бог тебя благословит, пан Анджей, – воскликнула Оленька, – коли ты рассудил по чести, по справедливости.

– Коли рассудил?

Тут пан Анджей скривился, как школяр, который должен сознаться в своем проступке, и стал начесывать пятерней на лоб свою чуприну.

– Моя ты королева! Мое ты сокровище! – воскликнул он наконец жалобным голосом. – Не гневайся ты на меня…

– Что же ты опять натворил, пан Анджей? – с тревогой спросила Оленька.

– Велел дать по сто батожков бурмистру и советникам! – выпалил пан Анджей.

Оленька ничего не ответила, только руками в колени уперлась, голову опустила на грудь и погрузилась в молчание.

– Руби голову с плеч! – кричал Кмициц. – Только не гневайся!.. Я еще не во всем тебе повинился…

– Не во всем? – простонала девушка.

– Они ведь потом послали в Поневеж за подмогой. Пришла сотня плохоньких солдат с офицерами. Солдат я распугал, а офицеров – не гневайся ты, Христа ради! – велел голыми прогнать по снегу канчуками, как когда-то в Оршанщине сделал с паном Тумгратом…

Панна Биллевич подняла голову, суровые глаза ее горели гневом, лицо пылало.

– Нет у тебя, пан Анджей, ни стыда ни совести! – сказала она.

Кмициц поглядел на нее удивленно и на минуту умолк.

– Ты это правду говоришь, – спросил он наконец изменившимся голосом, – или только так, прикидываешься?

– Правду говорю, потому что такой поступок достоин не кавалера, а разбойника! Правду говорю, потому что мне дорога твоя честь, потому что мне стыдно, что не успел ты приехать, а уже все обыватели видят в тебе насильника и пальцем на тебя тычут!

– Что мне до ваших обывателей! Десять халуп одна собака сторожит, и той нечего делать.

– Но никто из этих худородных не навлек на себя бесчестия, никто не опозорил своего доброго имени. Никого тут суд не будет преследовать, кроме тебя одного, пан Анджей!

– Э, не твоя это забота. Всяк сам себе пан в пашей Речи Посполитой, у кого только сабля в руках и кто может собрать хоть плохонькую ватагу. Что они мне сделают? Кого мне тут бояться?

– Коли ты, пан, никого не боишься, так знай же, что я боюсь гнева Божьего… и слез людских боюсь, и обид! А позор я ни с кем не стану делить; хоть я слабая женщина, доброе имя мне, может, дороже, чем иному кавалеру.

– Господи Боже мой, да не грози ты мне отказом, ты ведь еще меня не знаешь…

– О, я вижу, что и мой дед тебя не знал!

Глаза Кмицица сверкнули гневом, но и в ней закипела кровь Биллевичей.

– Беснуйся, пан Анджей, скрежещи зубами, – смело продолжала она, – я тебя не испугаюсь, хоть я одна, а у тебя целая хоругвь разбойников, невинность моя мне защитой! Ты думаешь, я не знаю, что вы в Любиче портреты перестреляли и девушек водили в дом для распутства? Это ты меня не знаешь, коли думаешь, что я покорно смолчу. Я хочу, чтобы ты стал достойным человеком, и требовать этого мне не запретит никакое завещание. Да и дед мой завещал, чтобы я стала женой только человека достойного…

Кмициц, видно, устыдился бесчинств в Любиче, потому что, потупя взор и понизив голос, спросил:

– Кто тебе сказал об этой стрельбе?

– Вся шляхта в округе об этом толкует.

– Я им это попомню, сермяжникам, предателям, – нахмурился Кмициц. – Но все ведь это под пьяную руку… в компании… солдаты, они ведь народ необузданный. А девок я в дом не водил.

– Я знаю, что это все эти бесстыдники, эти разбойники тебя подстрекают…

– Не разбойники они, а мои офицеры.

– Я этих твоих офицеров выгнала вон из моего дома!

Оленька ожидала взрыва негодования, а меж тем, к величайшему ее удивлению, весть об изгнании товарищей не произвела на Кмицица никакого впечатления, – напротив, он как будто даже воспрянул духом.

– Выгнала вон? – спросил он.

– Да.

– И они ушли?

– Да.

– Ей-же-ей, кавалерская у тебя удаль! Страх как мне это нравится, ведь это, знаешь, очень опасное дело – ссориться с такими людьми. Не один человек дорого за это заплатил. Но и они трепещут перед Кмицицем! Вот видишь, убрались смиренно, как овечки, вот видишь! А все почему? А потому, что меня боятся!

Тут пан Анджей посмотрел хвастливо на Оленьку и стал крутить свой ус; а ее уж вовсе рассердила и эта переменчивость, и эта похвальба не ко времени, поэтому она сказала решительно и гордо:

– Пан Анджей, выбирай между мною и ими, иначе я не могу!

Кмициц будто и не заметил той решительности, с какой говорила Оленька, и ответил небрежно, чуть ли не весело:

– А зачем мне выбирать, коль и ты моя, и они мои! Ты, панна Александра, можешь в Водоктах делать все, что тебе вздумается, но если мои товарищи не допустили здесь никакого своевольства и ничем тебя не обидели, за что же мне их выгонять? Тебе не понять, что это значит – служить под одним знаменем и вместе ходить в походы. Никакое родство так не связывает, как служба. Знай же, они мне тысячу раз спасали жизнь, и я им спасал, и сейчас, когда они без крова и пристанища и суд их преследует, я тем более должен дать им приют. Все они родовитые шляхтичи, один только Зенд темного происхождения, но такого объездчика не сыщешь

во всей Речи Посполитой. А когда б ты слышала, как он подражает всяким зверям и птицам, ты бы сама его полюбила.

Тут пан Анджей рассмеялся так, точно между ними отродясь не бывало ни раздора, ни несогласия, а она даже руки заломила, видя, как ускользает из ее рук своевольная эта натура. Все, что толковала она ему о людской молве, о достоинстве, о чести, отскакивало от него, как тупая стрела от панциря. Этот солдат с непробудившейся совестью не мог понять, почему восстает она против всякой несправедливости, против всякого наглого самоуправства. Как же пронять его, как с ним говорить?

– Твори Бог волю свою! – сказала она наконец. – Коли ты, пан Анджей, от меня отказываешься, иди своей дорогой! Господь останется покровом сироте!

– Я от тебя отказываюсь? – с величайшим изумлением спросил Кмициц.

– Да, коли не словом, так делом, коли не ты от меня, так я от тебя. Потому что не пойду я за человека, на чьей совести людские слезы и людская кровь, на кого пальцем показывают, кого отщепенцем зовут и разбойником и почитают предателем!

– Каким предателем? Не вводи ты меня в грех, не то я такое сотворю, что сам потом буду жалеть. Чтоб меня громом убило, провалиться мне на этом месте, коли я предатель, это я-то, что стал на защиту отчизны, когда у всех опустились руки!

– Ты стал на ее защиту, пан Анджей, а поступаешь как враг, потому что топчешь ее, потому что наших людей истязаешь, потому что попираешь божеские и людские законы. Нет, пусть у меня сердце разорвется, не хочу я тебя такого, не хочу!

– Не говори мне об этом, не то я взбешусь! Пресвятая Богородица, спаси и помилуй! Да не захочешь ты добром пойти за меня, силком возьму, хоть бы вся голытьба из застянков, хоть бы сами Радзивиллы, сам король и все черти рогами тебя обороняли, хоть бы душу дьяволу пришлось продать…

– Не поминай нечистого, услышит! – вскричала Оленька, протягивая руки.

– Чего ты от меня хочешь?

– Будь же ты достойным человеком!

Они оба умолкли, и в покое воцарилась тишина. Слышно было только, как тяжело дышит пан Анджей. Его все-таки проняло от последних слов Оленьки, совесть в нем заговорила. Он чувствовал себя униженным. Не знал, что ответить ей, как оправдаться. Быстрыми шагами стал ходить по комнате; она сидела неподвижно. Облако раздора повисло над ними, обиды и раздражения. Тяжело им было обоим, и долгое молчание становилось все несносней.

– Прощай! – сказал вдруг Кмициц.

– Поезжай, пан Анджей, и пусть Бог наставит тебя на путь истинный, – ответила Оленька.

– Поеду! Горько было твое питье, горек хлеб! Желчью и оцтом меня тут напоили!

– А ты думаешь, пан Анджей, что меня сладостью ты напоил? – ответила она голосом, в котором дрожали слезы.

– Прощай!

– Прощай!

Кмициц шагнул было к двери, но вдруг повернулся и, подбежав к панне Александре, схватил ее за руки:

– Господи, неужто ты хочешь, чтобы я в дороге мертвый упал с коня?

Тут Оленька дала волю слезам; он обнял ее и держал, трепещущую, в объятиях, повторяя сквозь стиснутые зубы:

– Бей же меня, кто в Бога верует, бей, не жалей! – Наконец он не выдержал: – Не плачь, Оленька, ради Христа, не плачь! В чем я перед тобой провинился? Я все сделаю, что только ты пожелаешь. Отошлю их прочь. В Упите все улажу, жить стану по-иному, потому что люблю тебя!.. Ради Христа, сердце у меня разорвется… я все сделаю, только не плачь… и люби меня хоть немножко!..

Так он утешал ее и голубил, а она, выплакавшись, сказала ему:

– Поезжай, пан Анджей. Господь примирит нас. Я на тебя не в обиде, только болит мое сердце…

Луна высоко поднялась уже над белыми полями, когда пан Анджей отправился в Любич, а за ним тронулись шагом солдаты, вытянувшись лентой на широкой дороге. Они ехали не через Волмонтовичи, а прямиком через болота, скованные морозом, по которым сейчас можно было безопасно проехать.

Вахмистр Сорока поравнялся с паном Анджеем.

– Пан ротмистр, – спросил он, – а где нам в Любиче остановиться?

– Пошел прочь! – ответил Кмициц.

Он ехал впереди, ни с кем не говоря ни слова. В сердце его кипели горькие чувства сожаления, порою гнева, но прежде всего досады на самого себя. Это была первая ночь в его жизни, когда он держал ответ перед совестью, и упреки ее были тяжелей самой тяжелой кольчуги. Ехал он сюда, а за ним дурная слава бежала, и что же он сделал, чтобы поправить ее? В первый же день позволил товарищам в Любиче стрелять и распутничать и солгал, будто сам не распутничал, а на самом-то деле распутничал, а потом каждый день позволял им бесчинствовать. Дальше: солдаты обидели горожан, а он усугубил эту обиду. Хуже того, набросился на поневежский гарнизон, людей избил, офицеров голыми гонял по снегу… Предадут его суду – и конец. Лишат имущества и чести, а может, и к смертной казни присудят. Ведь не сможет же он по-прежнему, собрав ватагу вооруженной голытьбы, глумиться над законом, ведь он жениться хочет, осесть в Водоктах, служить не на свой страх, а в войске, а там закон найдет его и настигнет кара. А если кара и минует его, все равно дурные это поступки, недостойные рыцаря. Может, ему и удастся замять дело, но память о них останется и в людских сердцах, и в его собственной совести, и в сердце Оленьки… И как вспомнил он тут, что она еще не оттолкнула его, что, уезжая, он прочитал в ее взоре прощение, доброй она ему показалась, как ангелы небесные. И взяла его охота не завтра, а сейчас вот воротиться к ней, прискакать, и повалиться в ноги, и просить забыть все, и целовать ее сладостные очи, которые слезами оросили сегодня его лицо.

Ему хотелось самому зарыдать, и чувствовал он, что любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Пресвятая Дева! – думал он в душе. – Я все сделаю, что она только пожелает; щедро оделю товарищей и отправлю их на край света, потому что это правда, что они толкают меня на злые дела».

Тут пришло ему на ум, что вот приедет он в Любич и, наверно, застанет их пьяных или с девками, и такое взяло его зло, что захотелось броситься на кого-нибудь с саблей, хоть на тех же солдат, которых он вел, и рубить без пощады.

– Ну и задам же я им! – ворчал он, теребя ус. – Они меня еще таким не видали, каким нынче увидят!

Тут он в ярости стал шпорить коня, дергать и рвать поводья, так что разгорячил своего аргамака. Видя это, Сорока проворчал, обращаясь к солдатам:

– Взбесился ротмистр. Не приведи бог попасть ему под сердитую руку!

Пан Анджей и впрямь бесился. Великий покой царил вокруг. Ясно светила луна, в небе сверкали тысячи звезд, даже ветерок не шевелил ветвей на деревьях, – только в сердце рыцаря была целая буря. Дорога до Любича показалась ему длинной, как никогда. Какой-то неведомый доселе страх стал надвигаться на него из мрака, из лесных дебрей, с полей, залитых зеленоватым лунным светом. Наконец усталость овладела паном Анджеем, потому что, говоря правду, всю прошлую ночь он в Упите пропьянствовал и прогулял. Но он хотел клин клином выбить, быстрой ездой стряхнуть с себя тревогу, повернулся к солдатам и скомандовал:

– Рысью!

Он понесся стрелой, а за ним весь отряд. Они мчались по лесам и пустым полям, словно тот дьявольский легион рыцарей-крестоносцев, который, как рассказывают в Жмуди, появляется в ясные лунные ночи и несется по воздуху, предвещая войну и небывалые бедствия. Топот летел вперед и назад, взмылились кони, и только тогда, когда за поворотом показались заснеженные крыши Любича, отряд убавил ходу.

Ворота были отворены настежь. Когда двор наполнили люди и кони, Кмициц удивился, что никто не вышел спросить, кто же это приехал. Он думал, что окна будут пылать огнями, что он услышит чакан Углика, скрипку или веселые клики пирующих; меж тем только в двух окнах столового покоя мерцал слабый огонек, всюду было темно, тихо и глухо. Вахмистр Сорока первый спешился, чтобы подержать ротмистру стремя.

– Ступайте спать! – сказал Кмициц. – Кто поместится в людской, пусть спит там, остальные – по конюшням. Коней поставить в риги и хлева и принести им сена из сарая.

– Слушаюсь! – ответил вахмистр.

Кмициц соскочил с коня. Дверь в сени была распахнута настежь, сени выстудились.

– Эй, там! Есть там кто?

Молчание.

– Перепились!.. – проворчал пан Анджей.

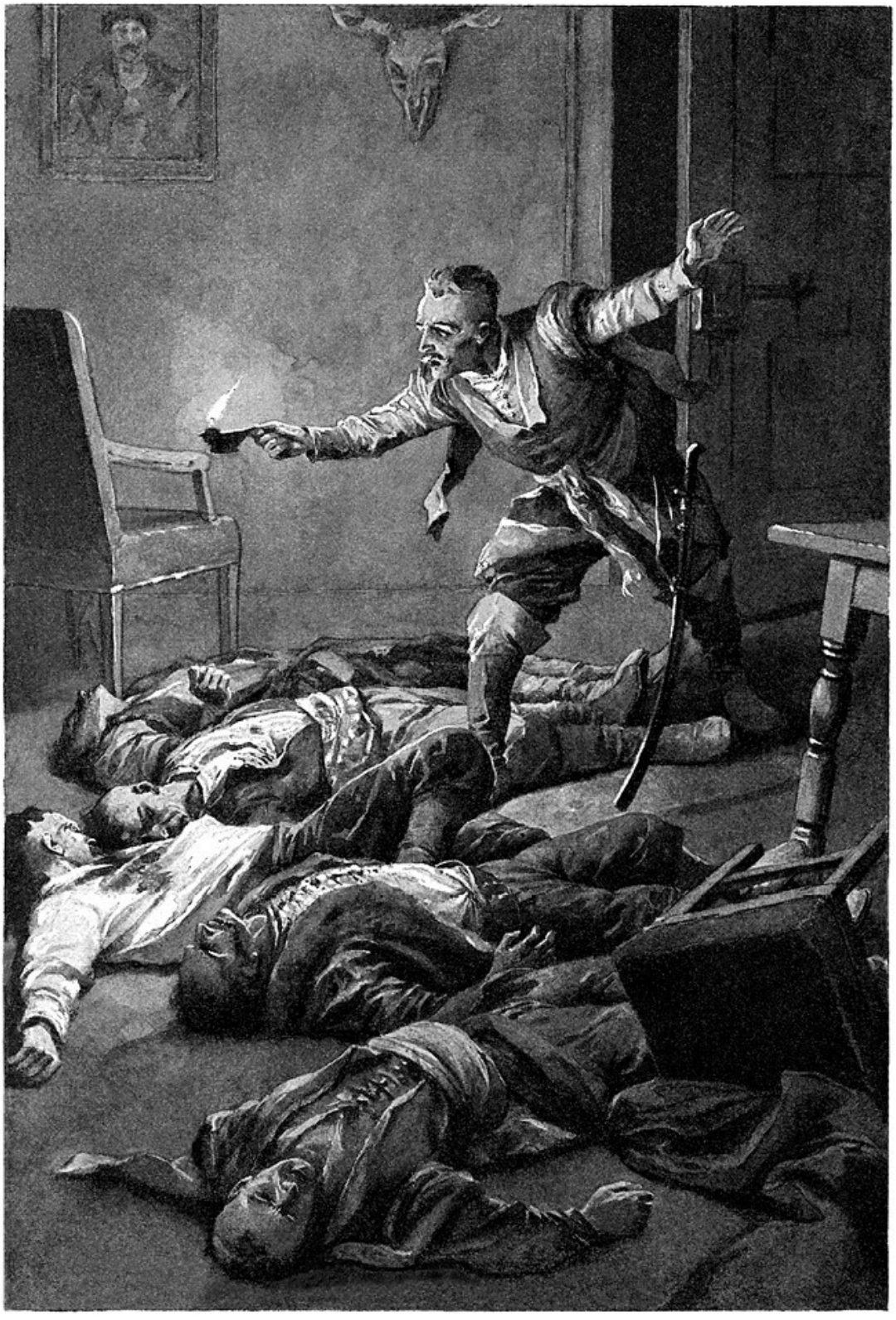
И его охватила такая ярость, что он зубами заскрежетал. По дороге сюда он трясся от гнева, думая, что застанет пьянство и гульбу, теперь эта тишина бесила его еще больше.

Он вошел в столовый покой. На большом столе, мерцая, горел красный огонек чадной масляной светильни. Струя воздуха, ворвавшись из сеней, заколебала пламя так, что с минуту пан Анджей ничего не мог разглядеть. Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.

– Перепились насмерть, что ли? – с беспокойством пробормотал он.

Затем нетерпеливо подошел к телу, лежавшему с краю. Лица он не мог разглядеть, оно было погружено в тень, но по белому кожаному поясу и белому футляру чакана он узнал Углика и начал бесцеремонно пинать его ногой:

– Вставайте, чертовы дети, вставайте!



Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.

Но Углик лежал неподвижно, и руки его были бессильно брошены вдоль тела, а за ним лежали остальные; никто не зевнул, не шевельнулся, не проснулся, не забормотал. В ту же

минуту Кмициц заметил, что все они лежат навзничь, в одинаковом положении, и сердце его сжалось от страшного предчувствия.

Подбежав к столу, он трясущейся рукой схватил светильню и приблизил ее к лицам лежащих.

Волосы встали у него дыбом на голове, такая страшная картина открылась перед его взором. Углика он смог признать только по белому поясу, потому что лицо и голова его представляли собой бесформенное, отвратительное кровавое месиво, без глаз, носа и губ – только усищи торчали из этой страшной лужи. Кмициц посветил дальше. Следующим лежал Зенд с оскаленными зубами; в глазах его, выкатившихся из орбит, застыл предсмертный ужас. У третьего, Раницкого, глаза были закрыты, и все лицо было в белых, багровых и черных пятнах. Кмициц светил дальше… Четвертым лежал Кокосинский, самый любимый его товарищ, старый близкий сосед. Он, казалось, спокойно спал, только сбоку, на шее, виднелась огромная колотая рана. Пятым лежал великан Кульвец-Гиппоцентаврус в жупане, изодранном на груди, с иссеченным лицом. Кмициц подносил светильню к каждому лицу, и когда он поднес ее наконец к глазам шестого, Рекуца, ему почудилось, что веки у несчастного затрепетали от света.

Кмициц поставил светильню на пол и легонько встряхнул раненого.

– Рекуц, Рекуц! – позвал он. – Это я, Кмициц!..

У раненого затрепетало лицо, глаза и рот его то открывались, то снова закрывались.

– Это я! – сказал Кмициц.

На мгновение глаза Рекуца открылись совсем – он узнал друга и тихо простонал:

– Ендрусь, ксендза!..

– Кто вас порубил?! – кричал Кмициц, хватаясь за голову.

– Бу-тры-мы… – раздался такой тихий голос, что он едва расслышал.

Тут Рекуц вытянулся, застыл, открытые глаза остекленели – он умер.

В молчании подошел Кмициц к столу, поставил светильню, опустился на стул и стал водить руками по столу, как человек, который, пробудившись ото сна, сам не знает, проснулся ли он или все еще видит злые сонные грезы.

Затем он снова бросил взгляд на лежавшие во мраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы встали дыбом, и вдруг он крикнул так страшно, что стекла задребезжали в окнах:

– Эй, сюда, кто жив, сюда!

Солдаты, которые устраивались в людской на ночлег, услышали этот крик и опрометью бросились в столовый покой. Кмициц показал им рукой на трупы, лежавшие у стены.

– Убиты! Убиты! – повторял он хриплым голосом.

Они кинулись посмотреть; некоторые из них прибежали с лучинами и стали подносить свет к лицам покойников. После первых минут потрясения шум поднялся и суматоха. Прибежали и те, что легли уже спать в хлевах и конюшнях. Весь дом запылал огнями, наполнился людьми, и в этом смятении, среди криков и возгласов, одни только убитые лежали у стены ровно и тихо, безразличные ко всему и – вопреки своей натуре – спокойные. Души покинули их тела, а тела не могли пробудить ни трубы, зовущие на бой, ни звон чар, зовущий на пир.

В шуме солдатских голосов все ясней слышались грозные и яростные клики. Кмициц, который до сих пор был точно в беспамятстве, вскочил внезапно и крикнул:

– По коням!

Все как один ринулись к дверям. Не прошло и получаса, как добрая сотня всадников мчалась во весь опор по широкой снежной дороге, а во главе их несся, как одержимый бесом, пан Анджей, без шапки, с саблей наголо. В ночной тишине раздавались дикие крики:

– Бей! Руби!

Луна на своем небесном пути достигла зенита, когда блеск ее стал внезапно мешаться и сливаться с красным светом, словно вырвавшимся из-под земли; небо алело все больше

и больше, точно от встающей зари, пока наконец багровое зарево пожара не залило всю окрестность. Море огня бушевало над огромным застянком Бутрымов, а дикий солдат Кмицица в дыму, огне и пламени, столбом вырывавшемся вверх, крушил перепуганных и ослепших от ужаса людей.

Повскакали с постелей жители ближайших застянков. Гостевичи Дымные, Стакьяны, Гаштовты и Домашевичи собирались толпами на дорогах, перед домами и, глядя в сторону пожара, передавали из уст в уста страшную весть: «Верно, неприятель ворвался и палит Бутрымов… Это небывалый пожар!»

Гром ружейной пальбы, долетавший по временам, подтверждал это предположение.

– Идем на помощь! – кричали те, что посмелей. – Не дадим погибать братьям!

…дикий солдат Кмицица в дыму, огне и пламени, столбом вырывавшемся вверх, крушил перепуганных и ослепших от ужаса людей.

Пока старики еще только толковали об этом, молодые, которые не пошли в Россиены, чтобы зимою обмолотить хлеб, уже садились по коням. В Кракинове и в Упите стали бить в костелах в набат.

В Водоктах тихий стук в дверь разбудил панну Александру.

– Оленька, вставай! – крикнула панна Францишка Кульвец.

– Войдите, тетушка! Что там творится?

– Горят Волмонтовичи!

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

– Пальба слышна даже у нас, там бой! Боже, будь милостив к нам, грешным!

Оленька страшно закричала, соскочила с постели и стала поспешно набрасывать на себя платье. Девушка тряслась как в лихорадке. Одна она сразу догадалась, что это за неприятель напал на несчастных Бутрымов.

Через минуту со всего дома сбежались со слезами разбуженные женщины. Оленька бросилась на колени перед образом, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву на отход души.

Не успели они прочесть и половину молитвы, как от внезапного стука затряслась входная дверь. Женщины вскочили на ноги, крик ужаса вырвался у них из груди.

– Не отпирайте! Не отпирайте!

Стук повторился с удвоенной силой, – казалось, двери вот-вот сорвутся с петель. В эту минуту в толпу женщин ворвался слуга Костек.

– Паненка, – крикнул он, – кто-то стучит, отпирать или нет?

– Он там один?

– Один.

– Поди отвори!

Слуга выбежал, а панна Александра, схватив свечу, прошла в столовый покой, за ней последовали панна Францишка и все пряхи.

Только панна Александра поставила свечу на стол, как в сенях раздался лязг железного засова, скрип отпираемой двери, и перед глазами женщин показался Кмициц, страшный, черный от дыма, окровавленный, задыхающийся, с безумными глазами.

– Конь у меня пал под лесом! – крикнул он. – За мной гонятся!

Панна Александра устремила на него взор:

– Ты, пан, спалил Волмонтовичи?

– Я! Я!

Он хотел еще что-то сказать, но со стороны дороги и леса донеслись внезапно крики и конский топот, который приближался со страшной быстротой.

– Дьяволы! За моей душой!.. Хорошо же! – крикнул, как в бреду, Кмициц.

В ту же минуту панна Александра повернулась к пряхам:

– Будут спрашивать, сказать, никого нет, а теперь ступайте в людскую и принесите сюда свет! – Затем Кмицицу: – Сюда, пан! – и показала на смежную комнату.

Чуть не силком втолкнув его в открытую дверь, она тотчас ее заперла.

Тем временем вооруженные люди наполнили двор усадьбы, и в мгновение ока Бутрымы, Гостевичи, Домашевичи ворвались в дом. Увидев панну Александру, они остановились в столовом покое; стоя со свечой в руке у двери, ведущей в смежную комнату, она заслоняла от них эту дверь.

– Люди добрые! Что стряслось! Чего вам здесь надо? – спросила она, не опуская глаз перед грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель.

– Кмициц спалил Волмонтовичи! – хором крикнула шляхта. – Поубивал мужчин, женщин, детей! Кмициц это сделал!

– Мы его людей перебили, – раздался голос Юзвы Бутрыма, – а теперь хотим его головы!

– Головы его! Крови! Зарубить убийцу!

– Бегите же за ним! – воскликнула панна Александра. – Что же вы тут стоите? Бегите!

– Разве он не здесь спрятался? Мы коня нашли под лесом!..

– Нет, не здесь! Дом был заперт! Ищите в конюшнях и хлевах.

– В лес ушел! – крикнул какой-то шляхтич. – Айда, братья!

– Молчать! – могучим голосом крикнул Юзва Бутрым.

Затем он подошел к панне Александре.

– Панна! – сказал он. – Не прячь его! Проклятый он человек!

Оленька подняла обе руки над головой:

– Я проклинаю его вместе с вами!

– Аминь! – крикнула шляхта. – Обыщем двор – и в лес! Мы его найдем! Айда на разбойника!

– Айда! Айда!

Снова раздался лязг сабель и топот ног. Шляхтичи сбежали с крыльца и торопливо садились по коням. Часть их еще некоторое время обыскивала постройки, конюшни, хлева, сеновал, потом голоса стали удаляться в сторону леса.

Панна Александра прислушивалась, пока голоса не пропали совсем, после чего лихорадочно постучала в дверь комнаты, где укрыла пана Анджея.

– Никого нет! Выходи, пан!

Кмициц вышел из комнаты, шатаясь, как пьяный.

– Оленька! – начал было он.

Она встряхнула распустившимися косами, которые плащом покрыли ей спину:

– Не хочу тебя видеть, не хочу тебя знать! Бери коня и уходи отсюда!

– Оленька! – простонал Кмициц, протягивая руки.

– Кровь на твоих руках, как на Каине! – крикнула она, отпрянув от него, как от змеи. – Прочь! Навеки!

Глава VI

День встал хмурый и осветил в Волмонтовичах груду развалин, пожарище, оставшееся на месте домов и хозяйственных построек, обгорелые или порубленные мечами трупы. На пепелище кучки осунувшихся людей искали в дотлевавших угольях тела погибших или остатки имущества. Это был день скорби и печали для всей Лауды. Правда, многочисленная шляхта одержала победу над отрядом Кмицица, но это была тяжкая, кровавая победа. Больше всего погибло Бутрымов; но не было застянка, где бы вдовы не оплакивали мужей, родители сыновей, дети отцов. Дорогой ценой досталась лауданцам победа над обидчиками, так как самых сильных мужчин не было дома, одни только старики да юноши на заре юности приняли участие в бою. Однако из людей Кмицица не спасся никто. Одни погибли в Волмонтовичах, где защищались так отчаянно, что даже, будучи ранеными, все еще продолжали сражаться, других на следующий день переловили в лесах и поубивали безо всякой пощады. Сам Кмициц как в воду канул. Все терялись в догадках, что могло с ним случиться. Одни говорили, будто он зарезался в Любиче; но тут же выяснилось, что это неправда; предполагали, что он пробился в пущу Зелёнку, а оттуда в Роговскую, где выследить его могли только Домашевичи. Многие твердили, что он перебежит к Хованскому и приведет врагов, но это были опасения по меньшей мере преждевременные.

Тем временем уцелевшие Бутрымы потянулись в Водокты и расположились там лагерем. В доме было полно женщин и детей. Кто не поместился, ушли в Митруны, которые панна Александра отдала в распоряжение погорельцев. Кроме того, около сотни вооруженных людей, сменяя друг друга, стояли в Водоктах на страже: опасались, что Кмициц не смирился с поражением и в любой день может учинить на Водокты вооруженное нападение, чтобы похитить панну Александру. Надворных казаков и гайдуков прислали на подмогу и самые богатые семейства в округе: Шиллинги, Соллогубы и другие. Водокты напоминали город, которому угрожает осада. А среди вооруженных людей, среди шляхты, среди толп женщин бродила скорбная, бледная, измученная панна Александра, внимая людским слезам и людским проклятиям пану Анджею, которые, как мечи, пронзали ей сердце, потому что она была косвенной причиной всех бед. Ради нее приехал сюда этот безумец, он возмутил их покой и оставил по себе кровавую память, закон попрал, людей перебил, селенья, как басурман, предал огню и мечу. Просто удивительно было, как мог один человек за такое короткое время причинить столько зла, и притом человек не такой уж плохой и не такой уж безнравственный. Кто-кто, а панна Александра, которая ближе всех знала его, хорошо это понимала. Целая пропасть лежала между самим паном Анджеем и его делами. Как жестоко терзала панну Александру мысль, что этот человек, которого она полюбила со всем жаром молодого сердца, мог быть иным, что были у него хорошие задатки, что он мог стать образцом рыцаря, кавалера, соседа и заслужить не презрение людей, а восхищение и любовь, не проклятия, а благословения.

Минутами панне Александре казалось, что это какое-то несчастье, какие-то могущественные злые силы толкнули его на все бесчинства, которые он совершил, и тогда в ней просыпалась непобедимая жалость к этому несчастливцу, и в сердце вновь пылала неугасшая любовь, подогреваемая свежими воспоминаниями о рыцарском его образе, речах, клятвах, любви.

А тем временем сотня жалоб была подана на него в шляхетский суд, сотня процессов грозила ему, и староста Глебович послал солдат, чтобы схватить преступника.

Закон должен был покарать его.

Но от приговоров до кары было еще далеко, ибо смута росла в Речи Посполитой. Ужасная война надвинулась на страну и кровавой поступью приближалась к Жмуди. Могущественный Радзивилл Биржанский мог один вооруженной рукой восстановить порядок; но он более предавался утехам светской жизни, а еще более великим замыслам, касавшимся его дома, кото-

рый он хотел возвысить над всеми прочими домами в стране, пусть даже ценою общего блага. Другие магнаты тоже думали больше о себе, нежели о Речи Посполитой. Со времени казацкой войны стало давать трещины могущественное здание Речи Посполитой.

Густонаселенная, богатая страна, полная отважных рыцарей, становилась добычей чужеземцев, в то же время самоволие и своеволие все выше поднимали голову и попирали закон, – они чувствовали за собой силу.

Лучшей и едва ли не единственной защитой угнетенных против угнетателей была собственная сабля; потому-то вся Лауда, подавая жалобы на Кмицица в шляхетские суды, долго еще не сходила с коней, готовая на насилие ответить насилием.

Но прошел месяц, а о Кмицице не было ни слуху ни духу. Люди вздохнули с облегчением. Богатая шляхта отозвала свою вооруженную челядь, посланную для охраны Водоктов. Мелкопоместная братия тоже рвалась к себе в застянки, чтобы взяться за работу, да и поразвлечься на досуге, и стала тоже понемногу разъезжаться по домам. А по мере того, как остывал ее воинственный пыл, все больше разгоралась у нее охота искать судом свои обиды на отсутствующем пане Кмицице, в трибуналах добиваться их удовлетворения. Приговоры не могли настичь самого Кмицица; но оставался Любич, прекрасное большое поместье, готовая награда за понесенные потери. Панна Александра усердно подогревала у лауданской братии эту охоту к тяжбам. Дважды приезжали к ней старики-лауданцы, и она не только держала с ними совет, но и руководила ими, удивляя всех неженским умом и такой рассудительностью, которой позавидовал бы не один стряпчий. Старики-лауданцы хотели тогда силой занять Любич и отдать его Бутрымам; но «паненка» решительно отсоветовала это делать.

– Не платите насилием за насилие, – говорила она старикам, – ибо и ваше дело будет неправым; пусть ваша сторона будет чиста и невинна. Он знатен, у него связи, он найдет сторонников и в трибуналах и, если только вы подадите к тому повод, может нанести вам новую обиду. Пусть же ваша невинность будет столь очевидна, чтобы любой суд, даже если в нем будут одни его братья, мог вынести приговор только в вашу пользу. Скажите Бутрымам, чтобы они не брали в Любиче ни утвари, ни скотины, чтобы ничего не трогали там. Все, что понадобится, я дам из Митрун, там всякого добра больше, чем когда-нибудь было в Волмонтовичах. А воротится пан Кмициц, пусть и его не трогают, пока не будет приговора, и не покушаются на его жизнь. Помните, что искать на нем свои потери вы можете только до тех пор, покуда он жив.

Так говорила рассудительная панна Александра с ее трезвым умом, а они хвалили свою разумницу, невзирая на то что промедление могло пойти на пользу пану Анджею и что жизнь его она, во всяком случае, спасала. А может, Оленька и хотела уберечь эту несчастную жизнь от какой-нибудь внезапной случайности? Но шляхта вняла ее речам, потому что с давних пор привыкла почитать за непреложную истину все, что исходило из уст Биллевичей; и Любич остался нетронутым, и пан Анджей, если бы вздумал явиться, мог бы некоторое время пожить там спокойно.

Но он не явился. А через полтора месяца к панне Александре пришел посланец с письмом, человек чужой, никому не ведомый. Письмо было от Кмицица, гласило оно следующее:

«Сердце мое, возлюбленная моя, бесценная Оленька, незабвенный друг мой! Всякой твари, особливо человеку, даже самому слабому, свойственно мстить за нанесенные обиды, и если кто ему зло сотворит, он готов отплатить ему тем же. Видит бог, я вырезал эту гордую шляхту не по жестокосердию, а потому, что они товарищей моих, вопреки законам божеским и человеческим, невзирая на молодость их и высокое происхождение, предали такой лютой смерти, какая не постигла бы их нигде, даже у казаков и татар. Не стану отпираться, гнев обуял меня нечеловеческий; но кого же удивит гнев за пролитую кровь друзей? Это души покойных Кокосинского, Раницкого, Углика, Рекуца, Кульвеца и Зенда, невинно убиенных в цвете сил и в зените славы, вложили меч в мои руки тогда, когда я – Бога призываю в свидетели! –

помышлял лишь о мире и дружбе со всей лауданской шляхтой и, вняв сладостным твоим советам, желал изменить всю мою жизнь. Слушая жалобы на меня, не отвергай и моей защиты и рассуди по справедливости. Жаль мне теперь этих людей из застянка, ибо пострадали, быть может, и невинные; но солдат, когда он мстит за кровь братьев, не может отделить невинных от виновных и никого не щадит. Не бывать бы лучше этой беде, не пал бы я тогда в твоих глазах. За чужие грехи и вины, за справедливый гнев тягчайшая постигла меня расплата, ибо, потеряв тебя, я засыпаю в отчаянии и пробуждаюсь в отчаянии, и не в силах я забыть тебя и мою любовь. Пусть же меня, несчастного, трибуналы засудят, пусть сеймы утвердят приговоры, пусть лишен я буду славы и чести, пусть земля расступится у меня под ногами, – я все перенесу, все перетерплю, только ты – Христом Богом молю! – не выбрасывай меня из сердца вон. Я все сделаю, что только ты пожелаешь, отдам Любич, отдам, когда враг уйдет, и поместья оршанские; есть у меня казна, добытая в бою и зарытая в лесах, и ее пусть берут, только бы ты сказала, что будешь верна мне, как велит тебе с того света покойный твой дед. Ты спасла мне жизнь, спаси же мою душу, дай вознаградить людей за обиды, позволь к лучшему изменить жизнь, ибо вижу я, что коли ты меня оставишь, то Господь Бог оставит меня, и отчаяние толкнет меня на дела еще горшие…»

Кто отгадает, кто сможет описать, сколько жалостных голосов зазвучало в душе Оленьки в защиту пана Анджея! Если любовь как семечко в лесу, ее быстро уносит ветерок, но когда разовьется она в сердце, как дерево в лесу, вырвать ее можно разве что с сердцем. Панна Биллевич принадлежала к тем, кто любит беззаветно, всем своим чистым сердцем, и слезами облила она письмо пана Анджея. Но не могла она по первому его слову все забыть, все простить. Раскаяние его было, конечно, искренним, но душа осталась дикой, и неукротимый его нрав, верно, не изменился после всех событий так, чтобы можно было без страха думать о будущем. Не слов, а дел ждала она от пана Анджея. Да и как могла она ответить человеку, залившему кровью всю округу, имени которого никто по обоим берегам Лауды не произносил без проклятия? «Приезжай, за трупы, пожары, кровь и слезы людские я отдаю тебе свою любовь и свою руку».

Иной ответ она дала ему:

«Я сказала тебе, пан Анджей, что не хочу тебя знать, не хочу тебя видеть, и не изменю своему слову, если даже сердце мое разорвется. За обиды, которые ты нанес людям, не платят ни поместьями, ни казной, ибо мертвых не воскресишь. Не богатство ты потерял, а славу. Пусть же простит тебя шляхта, которую ты пожег и поубивал, тогда и я прощу тебя; пусть она тебя примет, тогда и я приму тебя; пусть она первая за тебя вступится, тогда я внемлю ее заступничеству. Но вовек этому не бывать, и потому ищи себе счастья в другом месте, и прежде всего моли о прощении не людей, а Бога, ибо Его милость тебе нужней…»

Каждое слово своего письма панна Александра облила слезами, потом запечатала его перстнем Биллевичей и сама вынесла посланцу.

– Откуда ты? – спросила она, окинув взглядом странную фигуру полумужика-получелядина.

– Из лесу, панночка.

– А где твой пан?

– Этого мне не велено говорить… Только он далеко отсюда: я пять дней ехал и лошадь загнал.

– Вот тебе талер! – сказала Оленька. – А твой пан не болен?

– Здоров, как тур.

– Живет не в голоде? Не в бедности?

– Он пан богатый.

– Ступай себе с Богом.

– Земно кланяюсь.

– Скажи пану… погоди… скажи пану, пусть Бог ему будет защитой!..

Мужик ушел – и снова потекли дни, недели без вестей о Кмицице; зато вести о делах державных приходили одна другой хуже. Войска Хованского все шире заливали Речь Посполитую. Не считая украинских земель, в самом Великом княжестве были захвачены воеводства: Полоцкое, Смоленское, Витебское, Мстиславское, Минское и Новогрудское; только часть Виленского, Брест-Литовское и Трокское воеводства и староство Жмудское еще дышали свободной грудью, но и они со дня на день ждали гостей.

Видно, на последнюю ступень бессилия скатилась Речь Посполитая, ибо не могла дать отпор тем силам, которыми до сих пор пренебрегала и которые всегда победоносно усмиряла. Правда, эти силы поддерживал неугасимый и непрестанно возрождавшийся бунт Хмельницкого, эта истинная стоглавая гидра; но, невзирая на бунт, невзирая на урок, понесенный в прежних войнах, и государственные мужи и военачальники ручались, что одно только Великое княжество не только в состоянии отразить нападение, но и вторгнуться победоносно со своими хоругвями в чуждые пределы. К несчастью, внутренние раздоры препятствовали этому, лишая возможности действовать даже тех граждан, которые готовы были пожертвовать за отчизну жизнью и имуществом.

А тем временем в землях, еще не занятых врагом, укрывались тысячи беглецов как из шляхты, так и из простолюдинов. Города, посады и деревни в Жмуди были полны народа, доведенного военными неудачами до нищеты и отчаяния. Местные жители не могли ни предоставить всем кров, ни прокормить всех; люди низкого сословия мерли от голода, случалось, силой отнимали то, в чем им отказывали, и все ширились поэтому смута, стычки и грабежи.

Зима была необычайно суровой. Апрель уже наступил, а снежный покров все еще лежал не только в лесах, но и на полях. Когда иссякли прошлогодние запасы, а до новины еще было далеко, стал свирепствовать голод, брат войны, все шире и шире распространяясь по стране. Выехав из дому, обыватель в поле, у дороги встречал окостенелые трупы, объеденные волками, которые размножились чрезвычайно и целыми стаями подходили к деревням и застянкам. Их вой мешался с человеческими криками о помощи; в лесах и в полях и у самых селений по ночам пылали костры, у которых несчастные грели перезябшие члены, а когда кто-нибудь проезжал мимо, бежали вслед за ним и выпрашивали денег и хлеба, со стонами, проклятиями и угрозами молили о милосердии. Суеверный ужас овладел умами людей. Многие говорили, что все эти неудачные войны и все эти небывалые бедствия связаны с именем короля. Толковали охотно, будто буквы J. C. R., выбитые на монетах, означают не только Joannes Casimirus Rex[10], но и Initium Calamitatis Regni[11]. Если в землях, еще не охваченных войной, было так тревожно и неспокойно, легко догадаться, что творилось в тех местах, которые уже попирала огненная пята войны. Вся Речь Посполитая, объятая смутой, металась, как умирающий в горячечном бреду. Предсказывали новые войны и с внешними и с внутренними врагами. Поводов для этого было достаточно. В разгоревшейся междоусобице разные владетельные дома Речи Посполитой смотрели друг на друга как на вражеские державы, а вслед за ними на враждебные станы делились целые земли и поветы. Так обстояло дело в Литве, где жестокая вражда между великим гетманом Янушем Радзивиллом и польным гетманом Госевским, который был и подскарбием Великого княжества Литовского, привела чуть ли не к открытой войне. На сторону подскарбия стали сильные Сапеги, для которых могущество дома Радзивиллов давно уже было бельмом в глазу. Сторонники Госевского предъявляли великому гетману тягчайшие обвинения и в том, что он, стремясь только к личной славе, погубил войско под Шкловом и отдал край на поток и разграбление, и в том, что он думает не столько о благе Речи Посполитой, сколько о своем праве заседать в сеймах Германской империи, и в том, что он помышляет даже о независимой державе, и в том, что преследует католиков…

[10] Ян Казимир, государь *(лат.)*.

[11] Начало гибели государства *(лат.)*.

Не раз уже у сторонников обоих гетманов дело доходило до стычек, которые они завязывали будто бы без ведома своих покровителей, а покровители тем временем слали жалобы друг на друга в Варшаву; их распри находили отголосок и на сеймах, а на местах вели к произволу и безнаказанности, потому что какой-нибудь Кмициц всегда был уверен в покровительстве того владетеля, на чью сторону он становился.

Тем временем враг свободно продвигался вперед, лишь кое-где задерживаясь у стен замков и больше нигде не встречая отпора.

В таких обстоятельствах всем лауданцам надо было быть начеку и держать порох сухим, тем более что поблизости от Лауды не было гетманов; оба они находились в непосредственной близости от вражеских войск и, хоть не много могли сделать, все же беспокоили их, высылая конные разъезды и задерживая доступ в еще не захваченные воеводства. Снискивая себе славу, Павел Сапега давал отпор врагу независимо от гетманов. Януш Радзивилл, прославленный воитель, одно имя которого до поражения под Шкловом внушало страх врагам, добился даже значительных успехов. Госевский то сражался с врагом, то вступал с ним в переговоры, сдерживая таким образом его натиск. Зная, что с наступлением весны война разгорится с новой силой, оба военачальника стягивали войска с зимних квартир, собирали людей, где только могли. Однако войск было мало, казна пуста, а созвать в захваченных воеводствах шляхетское ополчение было невозможно, так как этому препятствовал враг. «Перед шкловским делом надо было об этом подумать, – говорили сторонники Госевского, – теперь слишком поздно». И в самом деле, было слишком поздно. Коронные войска не могли прийти на помощь: они были на Украине и вели тяжелые бои против Хмельницкого, Шереметева и Бутурлина.

Только вести с Украины о героических сражениях, о захваченных городах и небывалых походах воодушевляли людей, совсем павших духом, поднимали их на оборону. Громкой славой были овеяны имена коронных гетманов, рядом с ними людская молва все чаще повторяла имя пана Стефана Чарнецкого; но слава не могла заменить ни войско, ни подмогу, а потому гетманы литовские медленно отступали, не прекращая в пути распрей между собою.

Наконец Радзивилл пришел в Жмудь. С ним в Лауданскую землю вернулось на время спокойствие. Только кальвинисты, осмелев от близости своего вождя, поднимали головы в городах, нанося обиды католикам и нападая на костелы; зато атаманы всяких ватаг и шаек, набранных бог весть из кого, укрылись теперь в леса, распустили своих разбойников, которые, действуя якобы под знаменами Радзивилла, Госевского или Сапеги, разоряли край, и мирные люди вздохнули с облегчением.

От отчаяния к надежде один шаг, вот и на берегах Лауды все вдруг повеселели. Панна Александра спокойно жила в Водоктах. Пан Володыёвский, который все еще гостил в Пацунелях и к этому времени начал уже поправляться, распространял слух, что весной придет король с наемными хоругвями и война примет тогда совсем иной оборот. Шляхта ободрялась и стала выходить с плугами на поля. Снег стаял, и на березах показались первые почки. Широко разлилась Лауда. Прояснившееся небо синело над окрестностями. Люди воспрянули духом.

Но вскоре произошло событие, которое снова нарушило лауданскую тишину, заставило оторвать руки от лемехов и не дало саблям покрыться пламенем ржавчины.

Глава VII

Пан Володыёвский, славный и искушенный воитель, хоть и молодой еще человек, гостил, как уже было сказано, в Пацунелях у Пакоша Гаштовта, местного патриарха, который слыл самым богатым шляхтичем среди всей мелкопоместной лауданской братии. Трех дочерей он выдал замуж за Бутрымов и приданого отвалил им по сотне талеров каждой чистым серебром, не считая всякого добра и такой богатой одежи, какой не сыщешь и у иной родовитой шляхтянки. Остальные три дочери были еще девушки, они-то и ухаживали за паном Володыёвским, у которого рука то совсем поправлялась, то к ненастью снова мертвела. Эта рука была предметом забот всех лауданцев, ибо они видели ее за работой под Шкловом и Шепелевичами и единодушно считали, что лучшей не сыскать во всей Литве. Все застянки окружили молодого полковника небывалым почетом. Гаштовты, Домашевичи, Гостевичи, Стакьяны, а с ними и вся прочая шляхта постоянно посылали в Пацунели рыбу, грибы и дичь, сено для лошадей и смолу для повозок, чтобы рыцарь и его люди ни в чем не терпели нужды. Всякий раз, когда пану Володыёвскому становилось хуже, шляхтичи вперегонки скакали в Поневеж за цирюльником, – словом, все старались превзойти друг друга в услужливости.

Вольготное это было житье, и пан Володыёвский и не думал уезжать из Пацунелей, хоть в Кейданах и поудобней было бы, да и знаменитый лекарь являлся бы по первому зову. А уж старый Гаштовт так возвысился в глазах всех лауданцев, когда оказал гостеприимство молодому полковнику, что готов был расшибиться в лепешку, только бы угодить столь именитому гостю, которого и сам Радзивилл почел бы за честь принять в своем доме.

После разгрома и изгнания Кмицица шляхта, которой очень полюбился пан Володыёвский, надумала женить его на панне Александре. «Что это нам искать ей мужа по свету! – толковали старики, собравшись для того, чтобы обсудить это дело. – Тот изменник так себя замарал недостойными делами, что, коли он и жив, его надо отдать заплечному мастеру, а раз так, то и девушка должна выбросить его из сердца вон; это и в завещании особо оговорил подкоморий. Пусть выходит за пана Володыёвского. Как опекуны, мы можем дать на то свое согласие, вот и получит она достойного супруга, а мы – доброго соседа и предводителя».

Приняв единодушно это решение, старики отправились сперва к пану Володыёвскому, который, недолго думая, дал свое согласие, а потом к «паненке», которая, ни минуты не думая, решительно этому воспротивилась. «Любичем, – сказала она, – один только покойник имел право распорядиться, и отнять поместье у пана Кмицица можно только тогда, когда его присудят к смертной казни; что же до замужества, то я и слушать об этом не хочу. Так я измучилась, что о замужестве не могу и помыслить. Того я выбросила из головы, а этого, будь он хоть самый достойный жених, и не привозите, все равно я к нему не выйду».

Что было сказать на такой решительный отказ, – отправилась разогорченная шляхта восвояси; пан Володыёвский особенно не огорчился, ну а молодые дочки Гаштовта, Терка, Марыська и Зоня, и подавно. Рослые это были и румяные девушки с льняными косами, с глазами как незабудки и широкими спинами. Пацунельки все слыли красавицами: когда стайкой шли в костел, ну прямо тебе цветы на лугу! А эти три были самыми красивыми; к тому же старый Гаштовт не жалел денег и на ученье. Органист из Митрун научил их читать, петь божественные песни, а старшую, Терку, и на лютне играть. Девушки они были добросердечные и нежно заботились о пане Володыёвском, стараясь превзойти друг дружку в чуткости и усердии. О Марыське говорили, что она влюблена в молодого рыцаря; это была правда, да только наполовину, потому что не одна Марыська, а все три сестры были влюблены в него по уши. Они ему тоже очень нравились, особенно Марыська и Зоня, Терка, та уж больно жаловалась на мужскую неверность.

Не раз, бывало, в длинные зимние вечера, когда старый Гаштовт, выпив горячего медку, отправлялся на боковую, девушки усаживались с паном Володыёвским у очага: недоверчивая Терка прядет, бывало, пряжу, милая Марыся перья щиплет, а Зоня наматывает на мотовило пряжу с веретен. Только когда пан Володыёвский начнет рассказывать о походах, в которых он побывал, о диковинах, которых он навидался при различных магнатских дворах, работа остановится, девушки глаз с него не сводят и то одна, то другая вскрикивают в изумлении: «Ах, милочки мои, я умереть готова!» – а другая подхватывает: «Во всю ночь глаз не сомкну!»

По мере того как пан Володыёвский поправлялся и начинал уже по временам свободно орудовать саблей, он становился все веселей и с еще большей охотой рассказывал всякие истории. Однажды вечером уселись они, по обыкновению, у очага, от которого яркий свет падал на всю комнату, и сразу стали препираться. Девушки требовали, чтобы пан Володыёвский рассказал что-нибудь, а он просил Терку спеть ему что-нибудь под лютню.

– Сам, пан Михал, спой! – говорила Терка, отталкивая лютню, которую протягивал ей пан Володыёвский. – У меня работа. Ты видал свету и, наверно, выучился всяким песням.

– Как не выучиться, выучился. Ин быть по-вашему: сегодня я сперва спою, а потом ты, панна Терка. Работа не уйдет. Небось девушка бы тебя попросила, так ты бы спела, а кавалерам всегда отказ.

– Так им и надо.

– Неужели ты и меня так презираешь?

– Ну вот еще! Пой уж, пан Михал.

Пан Володыёвский забренчал на лютне, состроил потешную мину и запел фальшивым голосом:

Вот в каком живу я месте,
Ни одной не люб невесте!..

– Вот уж и неправда! – прервала его Марыся, закрасневшись, как вишенка.

– Это солдатская песенка, – сказал пан Володыёвский. – Мы ее на постое певали, чтоб какая-нибудь добрая душа над нами сжалилась.

– Я бы первая сжалилась.

– Спасибо, панна Марыся. Коли так, незачем мне больше петь, отдаю лютню в более достойные руки.

Терка на этот раз не оттолкнула лютни, ее растрогала песня пана Володыёвского, хоть на самом-то деле в этой песне было больше лукавства, чем правды; девушка тотчас ударила по струнам и, сложив губы сердечком, запела:

Ты бузину не рви в лесу,
Не верь ты хлопцу, злому псу!
«Люблю!» – тебе он знай поет,
А ты не слушай, все он врет!

Пана Володыёвского эта песня так распотешила, что он от веселья даже за бока ухватился.

– Неужто все хлопцы изменники? Ну а как же военные?

Терка еще больше поджала губы и с удвоенной силой пропела:

Еще хуже псы, еще хуже псы!

– Да не обращай ты, пан Михал, на нее внимания, она всегда такая, – сказала Марыся.

– Как же мне не обращать внимания, – возразил пан Володыёвский, – если она обо всем военном сословии такое сказала, что я со стыда готов сквозь землю провалиться.

– Ведь вот какой ты, пан Михал: хочешь, чтобы я тебе пела, а потом сам надо мной подтруниваешь да подсмеиваешься, – надулась Терка.

– Я про пение ничего не говорю, я про жестокие слова о нас, военных людях, – возразил рыцарь. – Что до пения, так, признаюсь, я и в Варшаве не слыхивал таких чудных трелей. Надеть на тебя, панна Терка, штанишки, и ты могла бы петь в костеле Святого Яна. Это кафедральный собор, у короля с королевой там свой клирос.

– А зачем же штанишки надевать? – спросила самая младшая, Зоня, которой любопытно было послушать про Варшаву и короля с королевой.

– Да ведь там девушки не поют в хоре, только мужчины да мальчики: одни такими толстыми голосами, что никакой тур так не зарычит, а другие так тоненько, что и на скрипке тоньше нельзя. Я их много раз слыхал, когда мы с нашим великим и незабвенным воеводой русским приезжали на выборы нынешнего нашего всемилостивейшего короля. Истинное это чудо, прямо душа возносится к небу! Множество там музыкантов: и Форстер, который знаменит своими тонкими трелями, и Капула, и Джан Батиста, и Элерт, который лучше всех играет на лютне, и Марек, и Мильчевский, который сам сочиняет очень хорошие песни. Как грянут все они разом в соборе, так будто хоры серафимов наяву услышишь.

– Правда, истинный Бог, правда! – сложив руки, сказала Марыся.

– Короля ты часто видал, пан Михал? – спросила Зоня.

– Так с ним беседовал, как сейчас вот с тобой. После битвы под Берестечком он меня обнял. Храбрый он король и такой милостивый, что один только раз увидишь его и тут же непременно полюбишь.

– Мы и не видевши любим его! А неужто он всегда корону на голове носит?

– Да зачем же ему каждый день в короне ходить! Голова-то у него не железная! Корона лежит себе в соборе, отчего и почету ей больше, а король носит черную шляпу, осыпанную брильянтами, от которых блеск идет на весь замок…

– Толкуют, будто королевский замок еще пышней, чем в Кейданах?

– В Кейданах? Да кейданский замок против королевского гроша не стоит! Высокий это дом, весь из камня выложен, дерева там и не увидишь. Кругом в два ряда покои идут, один другого краше. В покоях всякие сражения и победы на стенах расписаны. Тут и Сигизмунда Третьего дела, и Владислава; глядишь на них и не наглядишься, все там как живое, чудно` даже, что никто не шевелится, что бьются люди, а не кричат. Но уж такого никто написать не сумеет, даже самый лучший живописец. Некоторые комнаты сплошь из золота; стулья и лавки виссоном или парчой обиты, столы из мрамора да алебастра, а уж сундуков, шкатулок, часов, которые день и ночь время показывают, так и на воловьей коже всего не перепишешь. А по покоям король с королевой гуляют, на богатство свое любуются, а вечером у них театры для пущей потехи…

– Что же это за театры такие?

– Как бы это вам объяснить… Это такое место, где комедийное действо показывают да искусные итальянские пляски. Большой такой покой, прямо тебе как костел, и весь он в красивых столпах. По одну сторону смотрельщики сидят, что на диво хотят поглядеть, а по другую стоят комедиантские снасти. Одни поднимаются и опускаются, другие вертятся на гайках в разные стороны; то темноту и тучи показывают, то приятную ясность; наверху небо с солнцем или со звездами, а внизу, случается, и страшное пекло увидишь…

– Иисусе Христе! – вскричали девушки.

– …с чертями. Иной раз море без конца и края, а на нем корабли да сирены. Одни лицедеи с неба спускаются, другие из-под земли выходят.

– Вот уж пекло я бы не хотела увидать! – воскликнула Зоня. – Странно мне это, что люди не бегут от такой страсти.

– Не только не бегут, а еще в ладоши хлопают от утехи, – возразил пан Володыёвский, – все ведь это не взаправду, одно лицедейство, перекрестись, а оно не пропадет. Нет во всем этом нечистой силы, одна только людская хитрость. Туда даже епископы ходят с королем и королевой и всякие вельможи, а после представления король с ними со всеми садится за стол попировать перед сном.

– А с утра и днем что они делают?

– А что кому вздумается. Утром, вставши, купаются. Комната есть там такая, где пола нету, а только оловянная яма блестит, как серебро, а в этой яме вода.

– Вода в комнате? Слыхано ли дело?

– Да! И прибывает она или убывает, это как тебе захочется; может она быть и теплая, и вовсе холодная, трубы там такие с затворами, вот по этим трубам она и течет. Отверни затвор, и нальется ее столько, что плавать можно, как в озере… Ни у одного короля нет такого замка, как у нашего повелителя, все это знают, и послы иноземные то же говорят; и никто не властвует над таким честны`м народом, как он; всякие достойные нации есть на свете, но только нашу Бог в милосердии своем особо приукрасил.

– Счастливец наш король, – вздохнула Терка.

– Да уж верно был бы он счастливец, когда бы не дела державные, когда бы не войны неудачные, которые раздирают Речь Посполитую за грехи наши да несогласия. Все это на плечах короля, а на сеймах ему еще выговаривают за наши провинности. А чем же он виноват, что его не хотят слушать? Тяжкая година пришла для нашей отчизны, такая тяжкая, что еще такой не бывало. Самый слабый враг нас уже ни во что не ставит, а ведь мы еще недавно успешно воевали с турецким султаном. Так Бог карает гордыню. Рука у меня, благодарение создателю, уже легко ходит в суставах, пора, пора встать на защиту дорогой отчизны, пора отправляться в поход. Грех в такое время бить баклуши.

– Ты, пан Михал, об отъезде и не заикайся.

– Ничего не поделаешь. Хорошо мне тут с вами, но чем лучше, тем тяжелей. Пусть там мудрецы на сеймах рядят, судят, а солдат рвется в поход. Покуда жив, служи. После смерти Бог, который взирает на нас с небес, щедрей всего наградит тех, кто не ради чинов служит, а ради любви к отчизне… Похоже, что таких становится все меньше, оттого-то и пришла на нас черная година.

На глазах Марыси выступили слезы, повисли на ресницах и потекли вдруг по румяным щекам.

– Уйдешь, пан Михал, и забудешь нас, а мы тут с тоски высохнем. Кто же нас от врагов оборонит?

– Уеду, но век буду за вас Бога молить. Редко встретишь таких хороших людей, как в Пацунелях!.. А вы всё Кмицица боитесь?

– Как же не бояться! Матери детей пугают им, как вурдалаком.

– Не воротится он больше сюда, а и воротится, не будет с ним этих своевольников, которые, как люди толкуют, были хуже его. Жаль, что такой добрый солдат так себя опозорил, потерял и славу и богатство.

– И невесту.

– И невесту. Много о ней хорошего рассказывают.

– Она, бедняжка, теперь по целым дням все плачет да плачет…

– Гм! – сказал пан Володыёвский. – Ведь не о Кмицице она плачет?

– Кто его знает! – ответила Марыся.

– Тем хуже для нее, он ведь уже не воротится: пан гетман часть лауданцев отослал домой, так что войско теперь есть. Мы бы его без суда на месте зарубили. Он, наверно, знает, что лауданцы воротились, так что носа сюда не покажет.

– Наши, сдается, должны опять отправиться в поход, – сказала Терка, – их ненадолго отпустили по домам.

– Э! – протянул пан Володыёвский. – Это гетман их отпустил, потому что в казне денег нет. Плохо дело! Люди вот как нужны, а их приходится по домам отпускать… Однако пора и на боковую, спокойной ночи! Смотрите, чтобы какой-нибудь Кмициц не приснился с огненным мечом.

С этими словами Володыёвский поднялся с лавки и собрался уже совсем уходить; но не успел он сделать и шага к своей боковушке, как в сенях поднялся шум и чей-то голос пронзительно закричал за дверью:

– Эй, там! Отоприте скорей, ради Христа, поскорее!

Девушки перепугались насмерть; Володыёвский побежал в боковушку за саблей; но пока он вернулся, Терка уже отодвинула засов, и в дом вбежал неизвестный и бросился прямо к ногам рыцаря:

– Спасите, пан полковник!.. Панну увезли!

– Какую панну?

– Из Водоктов…

– Кмициц! – крикнул Володыёвский.

– Кмициц! – вскричали девушки.

– Кмициц! – повторил гонец.

– Ты кто такой? – спросил Володыёвский.

– Управитель из Водоктов.

– Мы его знаем! – сказала Терка. – Он для твоей милости териак возил.

Но тут из-за печи вылез сонный Гаштовт, а в дверях показались двое стремянных Володыёвского, которых привлек шум в комнате.

– Седлать коней! – крикнул Володыёвский. – Один скачи к Бутрымам, другой подавай коня!

– У Бутрымов я уже был, – сказал управитель, – туда ближе всего. Они послали меня к твоей милости.

– Когда панну увезли? – спросил Володыёвский.

– Только что. Там еще режут челядь… Я схватил коня…

Старый Гаштовт протер глаза:

– Что? Панну увезли?

– Да! Кмициц увез! – ответил Володыёвский. – Едем на помощь! – Он повернулся к гонцу. – Скачи к Домашевичам, пусть с ружьями идут!

– А нуте, козы! – крикнул вдруг старик на дочек. – Нуте, козы, и вы мигом на деревню, шляхту будить, пусть берется за сабли! Кмициц панну увез! Господи помилуй, да что это такое? Ах, разбойник! Ах, смутьян!

– Надо и нам людей будить, – сказал Володыёвский. – Так будет скорее. Идем, пан Гаштовт! Кони, я слышу, уж тут.

Через минуту они вскочили на коней, с ними двое стремянных: Огарек и Сыруц. Все они поскакали по дороге между хатами застянка, стуча в двери с неистовым криком:

– За сабли! За сабли! Панну увезли из Водоктов, Кмициц объявился!

Услышав этот крик, люди выбегали из хат поглядеть, что случилось, а поняв, в чем дело, сами начинали вопить: «Кмициц объявился! Панну увез!» – и опрометью кидались в конюшню, чтобы оседлать коня, или в хату, чтобы в темноте нашарить на стене саблю. Все больше голосов кричало: «Кмициц объявился!» – суматоха поднялась в застянке, засветились огни, раздался

плач женщин, лай собак. Наконец шляхта высыпала на дорогу – часть верхами, часть пеша. Над головами людей поблескивали сабли, пики, рогатины, даже железные вилы.

Володыёвский окинул взглядом отряд, тут же разослал человек двадцать в разные концы, а сам с остальными двинулся вперед.

Всадники ехали впереди, пешие следовали за ними, все направлялись в Волмонтовичи на соединение с Бутрымами. Был десятый час, ночь стояла ясная, хотя луна еще не взошла. Шляхтичи, которых великий гетман недавно отпустил с войны, тотчас построились в шеренги; пешие шли нестройными рядами, бряцая оружием, переговариваясь и громко зевая, а порой посылая проклятия вражьему сыну Кмицицу, который не дал им выспаться всласть. Так дошли они до Волмонтовичей, где навстречу им выехал вооруженный отряд.

– Стой! Кто едет? – раздались голоса из отряда.

– Гаштовты!

– Мы – Бутрымы. Домашевичи уже здесь.

– Кто у вас начальник? – спросил Володыёвский.

– Я, пан полковник, Юзва Безногий.

– Вестей нет?

– Он ее в Любич увез. По болотам проехал, чтобы миновать Волмонтовичи.

– В Любич? – с удивлением переспросил Володыёвский. – Что же, он думает там обороняться? Ведь Любич не крепость?

– Видно, верит в свою силу. Сотни две людей с ним. Наверно, и имущество хочет забрать из Любича: повозки у них с собою и много неоседланных лошадей. Должно быть, не знает, что наши вернулись из войска, – уж очень смело действует.

– Вот и отлично! – сказал Володыёвский. – Он от нас не уйдет. Сколько у вас ружей?

– У нас, Бутрымов, десятка три, да у Домашевичей раза в два больше.

– Хорошо. Возьмите полсотни людей с ружьями и поезжайте стеречь проходы на болотах – да поживей! Остальные пойдут со мною. Про топоры не забудьте!

– Слушаюсь!

Поднялось движение; небольшой отряд под командой Юзвы Безногого двинулся трусцой к болотам.

Тем временем подъехало человек двадцать Бутрымов, которые были посланы к другим шляхтичам.

– Гостевичей не видать? – спросил Володыёвский.

– Ах это ты, пан полковник! Слава Богу! – воскликнули вновь прибывшие. – Гостевичи уже идут… в лесу слышно. Ты знаешь, пан полковник, он ведь ее в Любич увез!

– Знаю. Недалеко он с нею уедет.

Кмициц и в самом деле не принял в соображение одной опасной стороны своего дерзкого предприятия: он не знал, что много шляхтичей вернулось домой. Он думал, что застянки пусты, как было во время его первого приезда в Любич, а Володыёвский вместе с Гостевичами мог выставить теперь против него даже без Стакьянов, которые не могли приехать вовремя, отряд чуть не в триста сабель, притом людей обученных и привычных к бою.

Все больше шляхты прибывало в Волмонтовичи. Явились наконец и долгожданные Гостевичи. Володыёвский построил отряд, и сердце у него возрадовалось, когда он увидел, как легко и ловко стали люди в строй. С первого взгляда было видно, что это не беспорядочная куча шляхтичей, а солдаты. Володыёвский еще больше обрадовался, когда подумал, что вскоре он поведет их гораздо дальше.

Рысью понеслись они в Любич через тот самый бор, по которому когда-то каждый день скакал Кмициц. Луна выплыла наконец на небо и осветила лес, дорогу и едущих всадников; бледные лучи ее сверкнули на остриях пик, отразились в блестящих саблях. Шляхтичи шепотом вели разговор о чрезвычайном происшествии, поднявшем их с постелей.

– Ходили тут всякие люди, – толковал один из Домашевичей. – Мы думали, беглецы, а это, наверно, были его лазутчики.

– Да-да. В Водокты каждый день захаживали чужие нищие, будто за подаянием, – прибавил другой.

– А что за солдаты у Кмицица?

– Челядь из Водоктов говорит, будто казаки. Верно, Кмициц с Хованским снюхался либо с Золотаренко. Был разбойником, а теперь уж стал заведомым изменником.

– Как же он мог завести так далеко казаков?

– С такой большой ватагой нелегко пробраться. Любая наша хоругвь задержала бы его по дороге.

– Первое дело, он мог лесами идти, а потом мало ли тут разъезжает панов с надворными казаками? Кто их там отличит от врагов; спросишь, а они говорят, мы, мол, надворные казаки.

– Он будет защищаться, – говорил один из Гостевичей, – человек он храбрый и решительный, но только наш полковник с ним справится.

– Бутрымы тоже поклялись не выпустить его живым, хоть бы пришлось всем сложить головы. Страх как они злы на него.

– Ба! Да если мы его зарубим, на ком будем обиды искать? Лучше уж живьем захватить и отдать под суд.

– Где уж там думать о судах, когда все голову потеряли! Слыхали ль вы, что люди толкуют, будто и шведы могут начать войну?

– Господи, спаси и сохрани! Московская держава и Хмельницкий! Одних только шведов не хватает, конец тогда Речи Посполитой.

Но тут Володыёвский, ехавший впереди, повернулся и сказал:

– Тише там!

Шляхта примолкла, уже завиднелся Любич. Через четверть часа отряд был недалеко от усадьбы. Все окна пылали огнями, свет озарял весь двор, наполненный вооруженными людьми и лошадьми. Нигде никакой стражи, никаких мер предосторожности, – видно, Кмициц был очень уверен в своих силах. Подъехав еще ближе, Володыёвский с первого же взгляда узнал казаков, с которыми ему столько пришлось повоевать еще при жизни великого Иеремии, да и потом у Радзивилла.

– Коли это чужие казаки, – пробормотал он про себя, – то этот смутьян перешел всякие границы!

Остановив весь отряд, он стал присматриваться. Во дворе царила страшная суматоха. Одни казаки светили, держа в руках факелы, другие сновали взад и вперед, вынося из дому вещи и укладывая на телеги мешки; те выводили лошадей из конюшен, те – скотину из хлевов; со всех сторон неслись приказы и окрики. При свете факелов казалось, что это арендатор на святого Яна переезжает в новое имение.

Кшиштоф Домашевич, старший в семье Домашевичей, подъехал к Володыёвскому.

– Пан полковник, – сказал он, – они хотят весь Любич уложить на телеги.

– Ни Любича они не увезут, – ответил Володыёвский, – ни шкуры своей не спасут. Однако я не узнаю` Кмицица, он ведь бывалый солдат. Никакой стражи!

– Силы у него немало, поболее трех сотен наберется. Не воротись мы из войска, так он бы среди бела дня проехал с телегами через все застянки.

– Ну ладно! – сказал Володыёвский. – К усадьбе ведет только одна эта дорога?

– Да, одна эта, на задах пруды да болота.

– Это хорошо! С коней!

Подчиняясь приказу, шляхтичи мгновенно спешились, затем сомкнули ряды и длинной цепью стали окружать дом вместе с постройками.

Володыёвский вместе с главным отрядом направился прямо к воротам.

– Ждать команды! – сказал он вполголоса. – Без приказа не стрелять!

С полсотни шагов отделяли шляхтичей от ворот, когда их заметили наконец со двора. Десятка два казаков тотчас подбежали к забору и, перегнувшись через него, стали пристально всматриваться в темноту.

– Эй, что за люди?

– Стой! – крикнул Володыёвский. – Огонь!

Внезапно раздался залп из всех ружей, какие только были у шляхты; но не успело эхо залпа отдаться от строений, как снова раздался голос Володыёвского:

– Вперед!

– Бей их! – закричали лауданцы, ринувшись лавиной вперед.

Казаки ответили выстрелами; но у них уже не осталось времени, чтобы перезарядить ружья. Толпа вооруженных шляхтичей нажала на ворота, которые тут же повалились под их могучим натиском. Закипел бой во дворе, среди телег, лошадей, мешков. Впереди стеной ломили богатыри Бутрымы, самые страшные в рукопашном бою и самые заклятые враги Кмициц. Они шли, как стадо вепрей идет сквозь молодую поросль, круша, топча, увеча и отчаянно рубя; за ними валили Домашевичи и Гостевичи.

Люди Кмицица стойко отбивались, укрываясь за повозками и мешками, они открыли огонь изо всех окон дома и с крыши; но выстрелы были редкие, так как факелы были затоптаны и погасли и стало трудно отличить своих от врагов. Через минуту казаков оттеснили к дому и конюшням; послышались мольбы о пощаде. Шляхтичи торжествовали.

Но когда они остались во дворе одни, тотчас усилился огонь из дома. Все окна ощетинились дулами мушкетов, и на отряд посыпался град пуль. Большая часть казаков укрылась в доме.

– К дому! Под двери! – крикнул Володыёвский.

В самом деле, пули, посланные из дома и с крыши, у самых стен не могли нанести шляхте урона. Однако положение осаждающих было тяжелым. О штурме дома через окна не могло быть и речи, там их встретили бы выстрелами в упор, поэтому Володыёвский приказал рубить дверь.

Но и это оказалось делом нелегким, так как не дверь это была, а настоящие кованые ворота, сбитые из дубовых крестовин огромными гвоздями, насаженными так плотно, что топоры щербились об могучие шляпки, не доставая до дерева. Силачи то и дело пробовали высадить дверь плечом – все было тщетно! Изнутри она была заложена железными засовами и, кроме того, приперта кольями. И все же Бутрымы яростно продолжали рубить. Двери, ведшие в кухню и сокровищницу, штурмовали Домашевичи и Гостевичи.

Целый час тщетно садили люди топорами – пришлось их сменить. Некоторые крестовины выпали; но на их месте показались дула мушкетов. Снова грянули выстрелы. Двое Бутрымов рухнули наземь с простреленной грудью. Но остальные не пришли в замешательство, напротив, стали рубить с еще большею яростью.

По приказу Володыёвского проломы заткнули свернутыми в узлы кафтанами. В ту же минуту со стороны дороги долетел новый крик, – это на помощь братьям прибыли Стакьяны, а вслед за ними вооруженные люди из Водоктов.

Прибытие новой подмоги, видно, испугало осажденных, потому что за дверью чей-то громкий голос крикнул:

– Стой там! Не руби! Послушай!.. Стой же, черт бы тебя побрал! Давай поговорим.

Володыёвский велел прервать работу.

– Кто говорит? – спросил он.

– Хорунжий оршанский Кмициц! – прозвучал ответ. – С кем я говорю?

– Полковник Михал Ежи Володыёвский.

– Здоро́во! – раздался голос из-за двери.

– Не время здороваться. Что угодно?

– Это мне надо тебя спросить: что тебе угодно? Ты меня не знаешь, я тебя тоже… так за что же ты на меня напал?

– Изменник! – крикнул Володыёвский. – Со мной лауданцы, они с войны воротились, это у них с тобой счеты и за разбой, и за невинно пролитую кровь, и за девушку, которую ты увез! Знаешь ли ты, что такое raptus puellae?[12] Ты за это поплатишься головой!

На минуту воцарилось молчание.

– Не назвал бы ты меня еще раз изменником, – снова заговорил Кмициц, – когда бы нас не разделяла дверь.

– Так отвори ее… я тебе не возбраняю!

– Сперва еще не один лауданский пес ногами накроется. Вы меня живым не возьмете.

– Так издохнешь, и вытащим за голову! Нам все едино!

– Ты вот послушай, что я тебе скажу, и заруби себе это на лбу. Не оставите вы нас в покое, так есть у меня тут бочонок пороху, и фитилек уж тлеет: взорву дом, всех, кто только тут есть, и себя заодно… Клянусь тебе в этом! Можете теперь меня брать!

На этот раз молчание было еще дольше. Володыёвский не знал, что ответить. Шляхта в ужасе стала переглядываться. В словах Кмицица звучала такая дикая сила, что все поверили его угрозе. От одной искры все труды могли пойти прахом, и панна Биллевич могла быть потеряна навеки.

– Господи! – пробормотал кто-то из Бутрымов. – Да он безумец! Он может это сделать.

Внезапно Володыёвского осенила счастливая, как ему показалось, мысль.

– Есть другое средство! – крикнул он. – Выходи, изменник, рубиться со мной на саблях! Уложишь меня, уедешь отсюда, и никто не станет чинить тебе препятствий.

Некоторое время ответа не было. Сердца лауданцев тревожно бились.

– На саблях? – спросил Кмициц. – Да может ли это быть!

– Не спразднуешь труса, так будет!

– Слово рыцаря, что уеду тогда без помехи?

– Слово рыцаря!

– Не бывать этому! – раздались голоса в толпе Бутрымов.

– Эй, тише там, чтоб вас черт побрал! – крикнул Володыёвский. – Не хотите, так пусть вас и себя взорвет порохом.

Бутрымы умолкли, через минуту один из них сказал:

– Быть по-твоему, пан полковник!..

– А как там сермяжнички? – с насмешкой спросил Кмициц. – Соглашаются?

– Хочешь, так на мечах поклянутся.

– Пусть клянутся!

– Сюда, сюда, ко мне! – крикнул Володыёвский шляхтичам, стоявшим у стен вокруг всего дома.

Через минуту все собрались у главного входа, и весть о том, что Кмициц хочет взорвать себя порохом, тотчас разнеслась в толпе. От ужаса все оцепенели; тем временем Володыёвский повысил голос и сказал в гробовой тишине:

– Всех, кто здесь присутствует, беру в свидетели, что я вызвал пана Кмицица, хорунжего оршанского, на поединок и дал ему клятву, что коли он меня уложит, то уедет отсюда без помехи и никто ему не станет чинить препятствий, в чем и поклянитесь все ему на рукоятях мечей именем Бога Всевышнего и святого креста…

– Погодите! – крикнул Кмициц. – Уеду без помехи со всеми людьми и панну с собой возьму.

---

[12] Похищение девушки *(лат.)*.

– Панна здесь останется, а люди пойдут к шляхте в неволю.

– Не бывать этому!

– Тогда взрывай себя порохом! Мы уже панну оплакали, а что до людей, так ты их спроси, чего они хотят…

Снова воцарилась тишина.

– Быть по-вашему! – сказал через минуту Кмициц. – Не сегодня, так через месяц я все едино ее увезу. И под землей ее от меня не спрячете! Клянитесь!

– Клянемся Богом Всевышним и святым крестом. Аминь!

– Ну, выходи, выходи же, пан! – сказал Володыёвский.

– На тот свет очень торопишься?

– Ладно уж, ладно, только выходи поскорей!

Лязгнули железные засовы, державшие дверь изнутри. Чтобы освободить место, Володыёвский, а с ним и вся шляхта отошли назад. Вскоре дверь отворилась, и в проеме показался пан Анджей, рослый и стройный, как тополь. Заря уже брезжила, и первые робкие лучи дня падали на его лицо, гордое, мужественное, молодое. Он встал в дверях, смело оглядел толпу шляхтичей и сказал:

– Я доверился вам… Бог знает, хорошо ли я поступил, однако не будем говорить об этом!.. Кто из вас пан Володыёвский?

Маленький полковник выступил вперед.

– Я! – ответил он.

– Эге! Да ты, я вижу, не больно велик, – сказал Кмициц, подсмеиваясь над ростом рыцаря. – Я думал, ты поосанистей, а впрочем, должен признать, что солдат ты, видно, бывалый.

– Не могу сказать этого о тебе, забыл ты совсем о страже. Коли и рубака из тебя такой, как начальник, не много мне придется потрудиться.

– Где будем драться? – с живостью спросил Кмициц.

– Здесь. Двор, как скатерть, ровный.

– Согласен. Готовься к смерти!

– Так ты уверен в себе?

– Видно, ты в Оршанщине не бывал, коль сомневаешься в этом. Я не только уверен в себе, но и жаль мне тебя. Много я о тебе наслышан как о славном рыцаре. Потому в последний раз говорю: оставь меня! Мы друг друга не знаем, зачем же нам друг другу поперек дороги становиться? Чего ты меня преследуешь? Девушка мне по духовной принадлежит, как и это поместье, и – Бог свидетель! – я только своего добиваюсь. Это правда, что я порубил в Волмонтовичах шляхту; но пусть Бог рассудит, кто первый понес тогда обиду. Своевольничали иль нет мои офицеры, мы про то говорить не будем, довольно того, что никому они здесь зла не причинили, а перебили их всех, как собак, только за то, что они хотели поплясать с девушками в корчме. Так пусть уж будет кровь за кровь! Потом мне и солдат порубили. Клянусь Богом, не таил я злого умысла, когда приехал в ваш край, а как меня приняли здесь?.. Но пусть уж будет обида за обиду. Я и своего прибавлю, вознагражу за обиды… По-добрососедски. По мне, лучше так…

– А что это за люди пришли теперь с тобой? Откуда ты взял этих помощников? – спросил Володыёвский.

– Откуда взял, оттуда и взял. Я их привел не против отчизны биться, а помочь мне в моем приватном деле.

– Вот ты каков? Стало быть, ради приватного дела ты спознался с врагами? А чем же ты им за услугу заплатишь, коль не изменой? Нет, братец, не помешал бы я тебе с шляхтой договориться, но кликнуть врага на помощь – это дело совсем другое. Ты у меня не отвертишься.

Становись же, становись, знаю я, что ты труса празднуешь, хоть и бахвалишься, что ты знаменитый оршанский рубака.

– Ты сам этого хотел! – сказал Кмициц, становясь в позицию.

Но Володыёвский не торопился; не вынимая сабли из ножен, он окинул взором небо. На востоке зазолотилась, заголубела по окоему первая светлая полоска, но сумрачно было еще на дворе, а подле дома царила непроглядная тьма.

– Хороший день встает, – сказал Володыёвский, – но солнце взойдет еще не скоро. Не хочешь ли, чтобы нам посветили?

– Мне все едино.

– Нуте-ка, сбегайте за жгутами да лучиной, – обратился Володыёвский к шляхте. – Будет нам светлее плясать оршанский этот танец.

Шляхта, которая удивительно как ободрилась от шутливых речей молодого полковника, опрометью бросилась в кухню; кое-кто стал подбирать затоптанные во время боя факелы, и через некоторое время с полсотни красных огоньков замерцало в белесом предутреннем сумраке. Володыёвский показал на них саблей Кмицицу:

– Глянь-ка, пан, прямо тебе погребальное шествие!

Кмициц не замедлил с ответом:

– Полковника хоронят, как же без помпы, нельзя!

– Не человек ты, пан, змея лютая!

Шляхта между тем в молчании стала в круг и подняла зажженные факелы, позади круга расположились остальные; все были охвачены страхом и любопытством; в середине круга противники мерили друг друга глазами. Тишина воцарилась мертвая, только пепел с факелов осыпался с шорохом на землю. Володыёвский весел был, как щегол в ясное утро.

– Начинай, пан! – сказал Кмициц.

Первый звук удара эхом отозвался в сердцах всех зрителей; Володыёвский ткнул саблей словно бы нехотя, Кмициц отразил удар и тоже кольнул, Володыёвский, в свою очередь, отразил удар. Сухой лязг сабель становился все чаще. Все затаили дыхание. Кмициц нападал с яростью, Володыёвский заложил назад левую руку и стоял спокойно, небрежно делая легкие, почти незаметные выпады; казалось, он хочет только прикрыть себя и вместе с тем пощадить противника; порой он пятился на шаг, порою делал шаг вперед, – видно, испытывал, насколько искусен противник. Кмициц горячился, он же был холоден, как мастер, проверяющий ученика, и становился все спокойней. Наконец, к неописуемому изумлению шляхты, он заговорил с противником.

– Давай потолкуем, – сказал он. – И время не будет так долго тянуться… Гм, так это ваш оршанский способ? Видно, вам самим приходится горох молотить, что ты машешь саблей, как цепом… Этак ты совсем вымахаешься. Неужто ты в Оршанщине и впрямь самый искусный рубака? Этот удар в моде разве только у судейских служак. А этот курляндский, им от собак хорошо отбиваться… Ты, пан, на острие сабли смотри! Не выгибай так руку, а то гляди, что может статься… Подними!

Последнее слово Володыёвский произнес раздельно, в то же мгновение сделал полукруг, потянул на себя руку с саблей, и прежде, чем зрители поняли, что означает этот возглас: «Подними!» – сабля Кмицица, точно соскользнувшая с нитки игла, просвистела над головой Володыёвского и упала у него за спиной.

– Это называется «выбить саблю», – сказал Володыёвский.

Кмициц, бледный, с блуждающими глазами, стоял, пошатываясь, изумленный не меньше лауданской шляхты; а маленький полковник шагнул в сторону и, показав на лежавшую на земле саблю, повторил еще раз:

– Подними!

Минуту казалось, что Кмициц ринется на него безоружный. Он готов уже был прыгнуть, и Володыёвский, прижав рукоять к груди, уже наставил острие. Однако Кмициц бросился за саблей, снова обрушился с нею на своего страшного противника.

Громкий шепот пробежал по кругу зрителей, и круг этот стал еще теснее, а позади него образовались второй и третий. Казаки Кмицица просовывали головы между плечами шляхтичей так, точно всю жизнь жили с ними в полном согласии. Невольные возгласы срывались с уст зрителей; порой раздавался взрыв неудержимого нервного смеха: все узнали мастера над мастерами.

А тот жестоко забавлялся, как кошка с мышкой, и на первый взгляд все небрежней орудовал саблей. Левую руку он сунул теперь в карман своих шаровар. С пеной у рта Кмициц хрипел уже, и наконец из груди его сквозь стиснутые губы с хрипом вырвались слова:

– Кончай!.. Не срами!..

– Ладно! – сказал Володыёвский.

Послышался короткий, страшный свист, затем сдавленный крик, в то же мгновение Кмициц раскинул руки, сабля упала на землю, и он ничком повалился к ногам полковника.

– Жив! – сказал Володыёвский. – Не навзничь упал.

И, отогнув полу жупана Кмицица, он стал вытирать ею саблю.

Шляхтичи вскричали все разом, и в криках их все явственней стали слышаться голоса:

– Добить изменника! Добить его! Зарубить!

Несколько Бутрымов уже бросились было с саблями наголо. Но вдруг произошло нечто удивительное. Володыёвский словно вырос на глазах у всех, сабля выпала из рук ближайшего Бутрыма и полетела вслед за саблей Кмицица, точно ее вихрем подхватило, а Володыёвский крикнул, сверкая взорами:

– Не сметь! Не сметь! Он мой теперь, не ваш! Прочь!

Все умолкли, страшась гнева мужа.

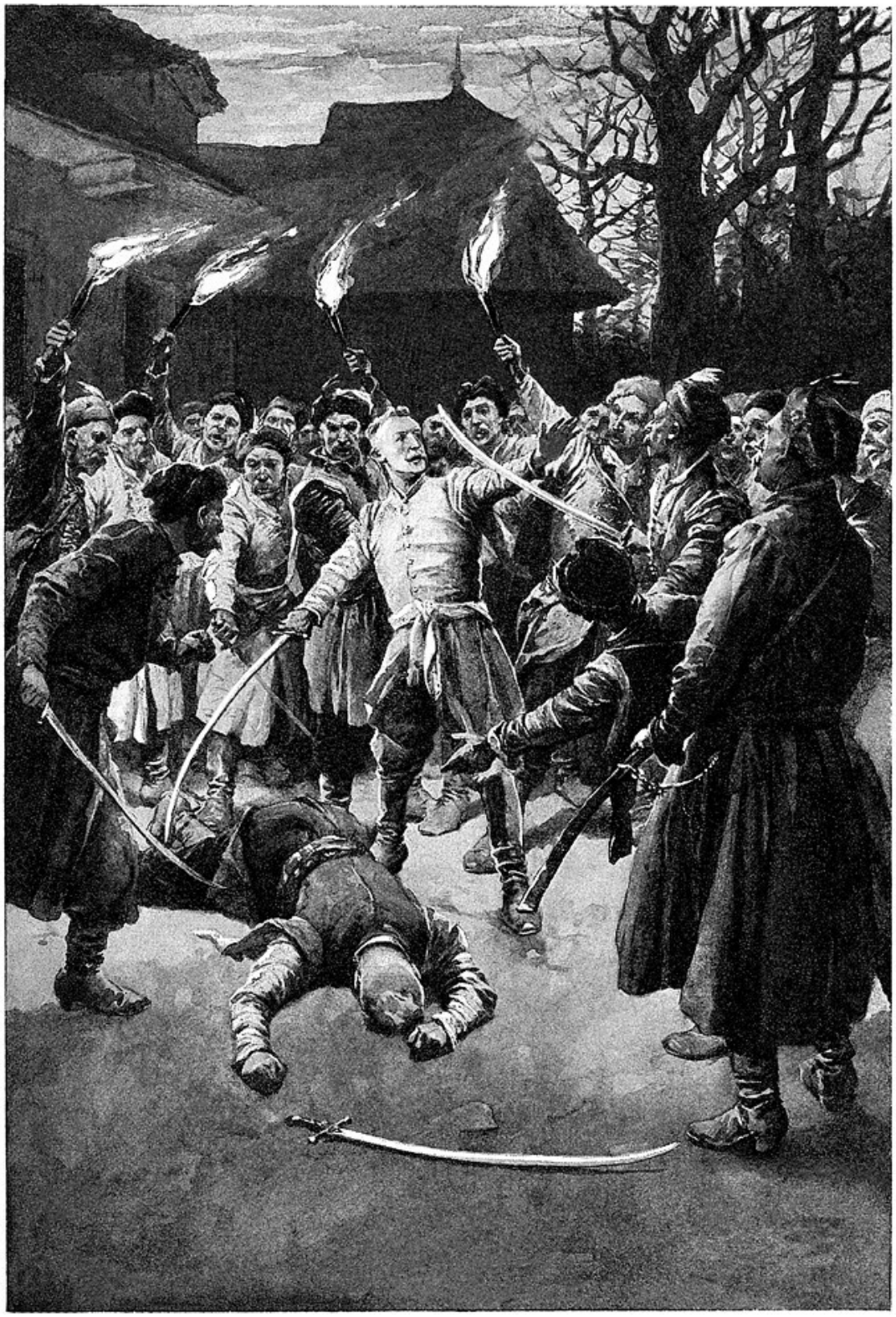
– Не нужна мне тут бойня! – сказал он. – Вы – шляхтичи и должны знать рыцарский обычай: раненых не добивать. Даже с врагами так не поступают, а что же говорить о противнике, сраженном в поединке!

– Он изменник! – проворчал кто-то из Бутрымов. – Такого следует убить.

– Коль изменник, так надо отдать его пану гетману, чтобы он понес наказание, а пример его стал другим наукой. Да и сказал уж я вам: мой он теперь, не ваш. Коли выживет, вы сможете искать на нем за ваши обиды перед судом и с живого получите больше, чем с мертвого. Кто тут умеет перевязывать раны?

– Кших Домашевич. Он с давних пор перевязывает раны на Лауде.

– Пусть сейчас же его перевяжет, а потом перенесите его на постель, ну а я пойду успокою несчастную панну.



Володыёвский словно вырос на глазах у всех, сабля выпала из рук ближайшего Бутрыма и полетела вслед за саблей Кмицица, точно ее вихрем подхватило…

С этими словами Володыёвский сунул сабельку в ножны и через изрубленную топорами дверь вошел в дом. Шляхта принялась ловить и вязать веревками людей Кмицица, которые отныне должны были стать в застянках пашенными мужиками. Казаки не оказали сопротив-

ления, только человек двадцать выпрыгнули через задние окна дома и бросились к прудам; но там они попали в руки стоявшим на стреме Стакьянам. Шляхта тут же принялась грабить повозки, на которых нашла довольно богатую добычу; кое-кто посоветовал ограбить и дом; но даже наиболее дерзкие поопасались Володыёвского, а быть может, их остановило и присутствие в доме панны Биллевич. Своих убитых, среди которых было трое Бутрымов и двое Домашевичей, шляхта положила на повозки, чтобы похоронить по-христиански, а для убитых людей Кмицица велено было мужикам вырыть ров позади сада.

В поисках панны Биллевич Володыёвский обшарил весь дом, пока не нашел ее наконец в сокровищнице – маленькой угольной комнате, в которую вела из опочивальни низенькая тяжелая дверь. Это была комнатка с узкими оконцами, забранными частой решеткой, и с такими толстыми, сложенными в квадрат каменными стенами, что Володыёвский сразу понял, что она наверняка осталась бы цела, если бы даже Кмициц вздумал взорвать дом. Маленький рыцарь решил, что Кмициц лучше, чем он о нем думал. Панна Александра сидела на сундуке подле двери, опустив голову, и лицо ее было совершенно закрыто распустившимися косами; она не подняла головы и тогда, когда услышала шаги рыцаря. Верно, думала, что это сам Кмициц или кто-нибудь из его людей. Володыёвский остановился в дверях, снял шапку, кашлянул раз-другой, но, видя, что это не помогает, произнес:

– Милостивая панна, ты свободна!..

Тогда из-под распустившихся кос на рыцаря глянули голубые глаза, а потом показалось прекрасное, хотя и бледное и как бы окаменелое лицо. Володыёвский ожидал бурной радости и благодарностей, а меж тем девушка сидела неподвижно, вперив в него блуждающий взор.

– Очнись же, панна! – повторил еще раз рыцарь. – Бог сжалился над твоей невинностью. Ты свободна и можешь вернуться в Водокты.

На этот раз взгляд панны Биллевич не был уже так безучастен. Поднявшись с сундука, она легким движением откинула на спину волосы и спросила:

– Кто ты?

– Михал Володыёвский, драгунский полковник виленского воеводы.

– Я слышала, там бой, выстрелы?.. Говори же…

– Да-да. Мы пришли, чтобы спасти тебя.

Панна Биллевич совсем пришла в себя.

– Спасибо тебе, пан! – поспешно сказала она тихим голосом, в котором звучала смертельная тревога. – А с ним что сталось?

– С Кмицицем? Не бойся, он лежит во дворе бездыханный. И, не хвалясь, скажу, что это сделал я.

Володыёвский не без кичливости произнес эти слова; он думал, что девушка придет в восторг, но жестоко обманулся в своих ожиданиях. Ни слова не вымолвив, она покачнулась вдруг и рукой стала искать опоры, пока не опустилась наконец тяжело на тот же сундук, с которого за минуту до этого встала.

Рыцарь бросился к ней:

– Панна, что с тобой?

– Ничего!.. Ничего! Погоди!.. Позволь… Так пан Кмициц убит?

– Что мне до пана Кмицица, – прервал ее Володыёвский, – когда тебе худо!

К ней внезапно вернулись силы, она снова поднялась и, поглядев ему прямо в глаза, крикнула с гневом, отчаянием и нетерпением:

– Ради всего святого, отвечай: он убит?

– Пан Кмициц ранен, – в изумлении ответил Володыёвский.

– Он жив?

– Жив.

– Хорошо! Спасибо тебе!..

И, все еще пошатываясь, она направилась к двери. Володыёвский постоял с минуту времени, топорща усики и качая головой.

– За что она меня благодарит? – пробормотал он про себя. – За то, что Кмициц ранен, или за то, что он жив?

И вышел вслед за ней. Он застал ее в смежной опочивальне, – словно окаменев, стояла она посреди комнаты. Четверо шляхтичей как раз вносили Кмицица, двое передних уже показались в дверях, между руками их свесилась до земли бледная голова пана Анджея с закрытыми глазами и сгустками черной крови в волосах.

– Потихоньку! – идя следом за ними, говорил Кших Домашевич. – Потихоньку через порог. Поддержите кто-нибудь голову. Потихоньку!..

– А чем держать, коли руки заняты? – ответили идущие впереди.

В эту минуту к ним подошла панна Александра; бледная, как и Кмициц, обеими руками подхватила она мертвую голову.

– Это паненка! – сказал Кших Домашевич.

– Это я… осторожней! – ответила она тихим голосом.

Володыёвский смотрел и еще сильнее топорщил усики.

Тем временем Кмицица положили на постель. Кших Домашевич стал обмывать ему голову водой, затем положил на рану заранее приготовленный пластырь и сказал:

– Теперь ему надо только спокойно полежать… Эх, и железная у него голова, коли от такого удара не раскололась надвое. Может, он и выживет, потому молод. Но крепко ему досталось! – Затем он обратился к Оленьке: – Дай, паненка, я тебе ручки вымою! Вот тут вода. Милосердное у тебя сердце, коли ради такого человека не побоялась ты ручки в крови замарать.

С этими словами он стал вытирать ей полотенцем руки, а она на глазах менялась в лице. Володыёвский снова подбежал к ней:

– Нечего тебе, панна, тут делать! Оказала христианское милосердие врагу… а теперь возвращайся домой.

С этими словами он подал ей руку; однако она даже не взглянула на него.

– Пан Кшиштоф, – обратилась она к Кшиху Домашевичу, – уведи меня отсюда!

Они вышли вдвоем; Володыёвский последовал за ними. Во дворе шляхта встретила панну Александру криками: «Виват!» – а она шла, пошатываясь, стиснув губы, бледная и с пылающим взором.

– Да здравствует наша панна! Да здравствует наш полковник! – кричали могучие голоса.

Спустя час лауданцы во главе с Володыёвским возвращались в застянки. Солнце уже взошло, утро встало веселое, по-настоящему весеннее. Лауданцы беспорядочной толпой двигались по большой дороге, толкуя о событиях минувшей ночи и превознося до небес пана Володыёвского, а он ехал задумчивый и молчаливый. Всё не шли у него из ума эти очи, глядевшие на него из-под распустившихся кос, эта статная и величественная, хоть и поникшая от печали и муки фигура.

– Чудо как хороша! – бормотал он про себя. – Прямо тебе княжна… Гм!.. Я ей невинность спас, а пожалуй, и жизнь, ведь она бы со страху умерла, когда бы сокровищница и уцелела… Должна бы меня благодарить… Но кто поймет этих женщин… Как на мальчишку-слугу смотрела на меня, не знаю, от гордости или от смущения…

Глава VIII

Эти мысли не давали ему спать всю следующую ночь. Еще несколько дней он все думал о панне Александре и понял, что она глубоко запала ему в сердце. Ведь лауданская шляхта хотела его женить на ней! Правда, она отказала ему не раздумывая, но ведь тогда она не знала его и не видала. Теперь совсем другое дело. Он по-рыцарски вырвал ее из рук насильника, хоть и пуля и сабля грозили ему, завоевал ее, просто как крепость… Чья же она, если не его? Может ли она отказать ему, даже если он попросит ее руки? А не попытаться ли? А не удастся ли пробудить в ней любовь из благодарности, как это часто случается, когда спасенная девушка тут же отдает спасителю руку и сердце! Пусть даже в сердце ее не проснется вдруг любовь к нему, так разве не стоит постараться об этом!

«А что, если она все еще того помнит и любит?»

– Не может быть! – сказал себе Володыёвский. – Отвадила она его, а то бы он силком не стал увозить.

Правда, милосердие она ему оказала необыкновенное; но ведь это женское дело – жалеть раненых, будь они даже враги.

Молода она, без опеки, замуж ей пора. В монастырь она, видно, не собирается, а то бы давно ушла. Довольно было для этого времени. К такой красавице вечно будут льнуть всякие кавалеры: одни – ради ее богатства, другие – ради красоты, третьи – ради знатности. Ну, не любо ли будет ей иметь такую защиту, на которую, как она сама уже видела, смело можно положиться.

– Да и тебе, Михалек, пора остепениться! – говорил сам себе Володыёвский. – Ты еще молод, но ведь годы быстро бегут. Богатства ты на службе не наживешь, разве только ран еще больше. А шалостям придет конец.

Перед взором Володыёвского проплыла тут вереница паненок, по которым он вздыхал в своей жизни. Были среди них и знатные, и первые красавицы, но она была всех милее, всех краше и достойней. Ведь и род Биллевичей, и ее самое славила вся округа, и столько благородства читалось в ее очах, что лучше супруги и пожелать нельзя.

Володыёвский чувствовал, что такое счастье плывет ему в руки, какое в другой раз может и не представиться, тем более что услугу девушке он оказал чрезвычайную.

– Что тянуть! – говорил он себе. – Дождусь ли я чего лучше? Надо попытаться.

Да, но война на носу. Рука у него здорова. Стыдно рыцарю увиваться за девушкой, когда отчизна простерла к нему руки и молит о спасении. Пан Михал сердца был честного, рыцарского и, хоть служил чуть не с отроческих лет и участвовал чуть не во всех войнах, которые бывали в те годы, сознавал, однако же, свой долг перед отчизной и даже не помышлял об отдыхе.

Но именно потому, что не ради корысти, денег и почестей, а верой и правдой служил он отчизне и совесть его была чиста, он знал себе цену, и это ободрило его.

«Другие своевольничали, а я сражался, – думал он про себя. – Господь Бог вознаградит солдата и поможет теперь ему».

Он решил, что на ухаживания времени нет и действовать надо без промедления, сразу все поставить на карту; съездить, предложить тут же руку и сердце и либо, не откладывая оглашений, обвенчаться, либо съесть арбуз.

– Ел я уж не раз, съем и теперь! – проворчал Володыёвский, топорща желтые усики. – Какой мне от этого вред!

Было, однако же, в этом внезапном решении одно обстоятельство, которое не нравилось ему. Если он так вот сразу после спасения девушки поедет делать ей предложение, думал

рыцарь, не будет ли он похож на назойливого кредитора, который хочет, чтобы ему поскорее вернули долг с лихвой?

А может, это не по-рыцарски? Да, но за что же и требовать благодарности, как не за услугу? А если эта поспешность не по вкусу придется девушке, если она поморщится, так ведь можно сказать ей: «Милостивая панна, да я бы год целый ездил к тебе, увивался да в глазки заглядывал, но ведь я солдат, а трубы гремят, зовут на войну!»

– Так решено: поеду! – сказал Володыёвский.

Однако через минуту ему пришла в голову новая мысль. А если она ответит ему: «Так иди же на войну, честной солдат, а кончится война, год будешь ко мне ездить и в глазки мне заглядывать, потому что человеку незнакомому я душой и плотью так вдруг не предамся».

Тогда все пропало.

Что пропало, это Володыёвский понимал прекрасно: не говоря уж о девушке, которую за это время мог взять другой, он сам не был уверен в собственном постоянстве. Совесть говорила ему, что в нем самом любовь вспыхивала вдруг, как солома, но и гасла, как солома.

Тогда все пропало! Скитайся по-прежнему, бродяга-солдат, из стана в стан, с битвы на битву, без крова, без родной души. А после войны ищи по свету пристани, не ведая, где, кроме арсенала, голову приклонить!

Володыёвский решительно не знал, что предпринять.

Тесно как-то и душно стало ему в пацунельской усадебке, взял он шапку, чтобы выйти на улицу и погреться немного на майском солнышке. На пороге он наткнулся на одного из людей Кмицица, которого отдали в неволю старому Пакошу. Казак грелся на солнце и бренчал на бандуре.

– Что ты здесь делаешь? – спросил у него Володыёвский.

– Играю, пан, – ответил казак, поднимая изможденное лицо.

– Откуда ты родом? – продолжал спрашивать пан Михал, довольный, что оборвались на минуту его мысли.

– Издалека, пан, из Звягеля.

– Почему же ты не бежал, как другие твои товарищи? О, все вы такие! Сохранила вам шляхта в Любиче жизнь, чтобы иметь пашенных мужиков, да не успела снять с вас веревки, как вы тотчас поубегали.

– Я не убегу. Околею здесь, как пес.

– Так тебе здесь понравилось?

– Кому лучше в поле, тот бежит, а мне здесь лучше. У меня нога была прострелена, а тут мне ее шляхтянка перевязала, дочка старика, да еще добрым словом приветила. Отродясь я такой красавицы не видывал… Зачем мне уходить?

– Которая же это так тебе угодила?

– Марыся.

– И ты останешься?

– Околею, так вынесут, а нет, так останусь.

– Неужто думаешь у Пакоша дочку выслужить?

– Не знаю, пан.

– Да он такому голяку скорей смерть посулит, чем дочку.

– У меня в лесу червонцы зарыты: две пригоршни.

– С разбоя?

– С разбоя.

– Да будь хоть целый гарнец, все едино ты мужик, а Пакош шляхтич.

– Я из путных бояр.

– Коль из путных бояр, так еще хуже, чем мужик, потому изменник. Как же ты мог врагу служить?

– А я и не служил.

– Где же Кмициц набрал вас?

– На большой дороге. Я у польного гетмана служил, но потом хоругвь разбежалась, есть стало нечего. Домой мне незачем было ворочаться, дом-то мой спалили. Пошли наши промышлять на большую дорогу, ну и я с ними пошел.

Володыёвский очень этому удивился, он до сих нор думал, что Кмициц похитил Оленьку, взяв людей у врага.

– Так пан Кмициц взял вас не у Трубецкого?

– Больше всего было тех, что у Трубецкого и Хованского служили, да и они на большую дорогу бежали.

– Почему же вы пошли за паном Кмицицем?

– Он славный атаман. Нам говорили, что коли он кликнет, так все едино что талеров насыплет в кошель. Потому мы и пошли. Да вот не поталанило нам!

Володыёвский только головой покачал, поразмыслив о том, что уж очень очернили этого Кмицица; затем он поглядел на изможденное лицо боярского сына и снова покачал головой:

– Так ты ее любишь?

– Люблю, пан!

Володыёвский направился на улицу, подумав про себя: «Вот это решительный человек! Он долго не раздумывал: полюбил и остается. Такие люди лучше всех… Коли он и впрямь из путных бояр, так это то же, что и застянковая шляхта. Отроет свои червонцы, и старый Пакош, пожалуй, отдаст за него свою Марысю. Отчего ж не отдать? Он не крутил, не вертел, а уперся на своем – и баста! Дай-ка и я упрусь!»

Раздумывая так, Володыёвский шел по улице на солнышке, порой останавливался и то потуплял взор в землю, то к небу его поднимал; потом снова продолжал свой путь, пока не увидел вдруг летевшее в небе стадо диких уток.

Тогда он стал гадать по ним: ехать, не ехать?.. Выпало: ехать.

– Кончено! Еду!

С этими словами он повернул домой; однако по дороге заглянул еще в конюшню, на пороге которой двое его стремянных играли в кости.

– Сыруц, – спросил Володыёвский, – заплетена ль грива у Серого?

– Заплетена, пан полковник.

Володыёвский зашел в конюшню. Серый заржал у яслей; рыцарь подошел к нему, похлопал по крупу, затем стал считать косицы в гриве.

– Ехать, не ехать, ехать…

Снова выпало: ехать.

– Седлать коней да одеться получше! – приказал Володыёвский.

После чего быстрым шагом направился домой и стал наряжаться. Надел высокие кавалерийские сапоги, желтые, с отворотами на подкладке и золочеными шпорами, и новый красный мундир, и рапирочку нацепил отменную, в стальных ножнах, с золотой насечкой на рукояти, и полупанцирек не забыл из светлой стали, закрывающий только верхнюю часть груди до шеи. Был у него в сундуке и рысий колпачок с чудным цапельным пером, но подходил он только к польскому платью, и пан Михал не стал его вынимать, а надел на голову шведский шлем с затыльником и вышел на крыльцо.

– Куда это ты собрался, пан полковник? – спросил у него старый Пакош, сидевший на завалинке.

– Куда собрался? Надо у вашей панны о здоровье справиться, а то как бы она не сочла меня за невежу.

– Так весь и сияешь! Чистый тебе снегирь! Ну, уж коли панна враз не влюбится, так, верно, и глаз у нее нет!

Но тут прибежали две младшие дочки Пакоша с подойниками в руках – они возвращались с обеденной дойки. Увидев Володыёвского, девушки застыли в изумлении.

– Прямо тебе король! – сказала Зоня.

– Как на свадьбу нарядился! – прибавила Марыська.

– А может, свадебку и сыграем, – засмеялся старый Пакош. – К панне нашей полковник едет.

Не успел старик кончить, как подойник выпал из рук Марыси, и молочная река полилась прямо под ноги Володыёвскому.

– Что рот разинула! – сердито сказал Пакош. – Экая коза!

Марыся ничего не ответила, подняла подойник и молча ушла.

Володыёвский вскочил на коня, за ним выстроились оба его стремянных, и все трое отправились в Водокты. Денек выдался красный. Майское солнце играло на нагруднике и шлеме Володыёвского, и, когда он издали мелькал между вербами, казалось, что по улице катится еще одно солнце.

– Любопытно знать, с перстеньком буду я ворочаться иль с арбузом? – пробормотал рыцарь.

– Что ты сказал, пан полковник? – спросил Сыруц.

– Дурень!

Стремянный стегнул коня по крупу, а Володыевский продолжал:

– Счастье, что не впервой.

Эта мысль очень его ободрила.

Когда они приехали в Водокты, панна Александра в первую минуту не признала полковника, так что ему пришлось еще раз назвать свое имя. Тогда она поздоровалась с ним любезно, но как-то сдержанно и принужденно, он же представился ей с отменной учтивостью, ибо хоть и был солдатом, не придворным, однако подолгу бывал при разных дворах и пообтерся между людьми. Он отвесил весьма почтительный поклон и, прижав руку к сердцу, вот что сказал ей:

– Я приехал к тебе, милостивая панна, о здоровье справиться, не захворала ли ты, случаем, с перепугу. Надо бы на другой же день приехать, да боялся я надоесть тебе.

– Это очень любезно с твоей стороны, милостивый пан, что ты не только спас меня от гибели, но и не забыл обо мне. Садись, будь дорогим гостем.

– Милостивая моя панна, – ответил пан Михал, – когда бы я забыл тебя, недостоин был бы я той милости, какую Бог оказал мне, позволив подать руку помощи столь достойной особе.

– Нет, это я сперва должна Господа Бога благодарить, а затем и тебя, пан полковник!

– Коли так, возблагодарим вдвоем Господа Бога, ибо ни о чем не молю я Его так усердно, как о том, чтобы с Его изволения и впредь защищать тебя от всяких бед.

При этих словах Володыёвский встопорщил свои навощенные усики, и без того торчавшие выше носа, – так доволен он был собою, что сразу сумел войти in medias res[13] и выложить все начистую. Панна Александра сидела смущенная и молчаливая, а уж красивая, как день весенний. Легкий румянец выступил у нее на щеках, а глаза она прикрыла ресницами, от которых тень падала на щеки.

«Это смущение – добрый знак!» – подумал Володыёвский.

И, откашлявшись, продолжал:

– Знаешь ли ты, милостивая панна, что после смерти твоего дедушки я командовал лауданцами?

– Знаю, – отвечала Оленька. – Покойный дедушка не мог сам идти в последний поход и очень был рад, когда ему сказали, что воевода виленский вверил тебе лауданскую хоругвь; он говорил, что знает тебя как славного рыцаря.

---

[13] В самую суть *(лат.)*.

– Это он так обо мне говорил?

– Я сама слыхала, как он тебя хвалил, а после похода и лауданцы превозносили тебя до небес.

– Я простой солдат, недостойный того, чтобы меня не то что до небес превозносить, а просто ставить выше других. Очень я рад, что не совсем я тебе чужой человек, теперь ты не подумаешь, что какой-то незнакомец, человек темный свалился к тебе с последним дождем с облаков. Всегда приятней знать, с кем имеешь дело. Много всякого народу бродит по свету, выдают они себя за родовитых шляхтичей, приукрашивают себя добродетелями, а сами-то бог весть кто такие, может, и не шляхтичи вовсе.

Володыёвский умышленно завел об этом разговор, чтобы рассказать Оленьке о себе, но она тотчас ему возразила:

– Тебя, пан полковник, никто в этом не заподозрит, ведь у нас в Литве есть шляхтичи с такой фамилией.

– Да, но те по прозванию Озории, а я Корчак-Володыёвский; мы из Венгрии, свой род ведем от некоего придворного Аттилы, этот придворный, когда его преследовали враги, дал обет Пресвятой Деве отречься от язычества и принять католическую веру, если только Она сохранит ему жизнь. Свой обет он сдержал, когда благополучно переправился через три реки, те самые, которые теперь у нас в гербе.

– Так ты, пан полковник, родом не из наших мест?

– Нет, милостивая панна. Я сам с Украины; у меня и сейчас там деревенька, да ее враги захватили; но я с молодых лет служу в войске и больше думаю не о своем богатстве, а об том уроне, который наша отчизна терпит от иноземцев. Смолоду служил я у воеводы русского, нашего незабвенного князя Иеремии, с которым побывал во всех походах. И под Махновкой был, и под Константиновом, голодал вместе со всеми в Збараже, а после битвы под Берестечком сам король, повелитель наш, обнял меня. Бог свидетель, не приехал я сюда похваляться, хочу только, чтобы ты знала, милостивая панна, что я не какой-нибудь пустобрех, который только глотку дерет, а крови своей жалеет, что всю жизнь я верой и правдой служил отчизне, ну и славу снискал, и чести своей ничем не замарал. Истинную правду говорю! И достойные люди могут мои слова подтвердить!

– Кабы все были такими, как ты, пан полковник! – вздохнула Оленька.

– Ты, милостивая панна, верно, думаешь о том насильнике, который осмелился поднять на тебя святотатственную руку?

Панна Александра опустила глаза в землю и не ответила ни слова.

– Он получил по заслугам, – продолжал Володыёвский. – Мне говорили, что он выживет, так что все едино не уйдет от кары. Все достойные люди его осуждают, даже уж слишком, толкуют, будто он с врагами связался, чтобы получить от них подмогу, а это неправда: казаков, с которыми он напал на Водокты, он вовсе не у врагов взял, а на большой дороге.

– Пан полковник, откуда ты это знаешь? – с живостью спросила Оленька, поднимая на Володыёвского свои лазоревые глаза.

– Да от его же людей. Странный он человек! Когда перед поединком я назвал его изменником, он не стал этого отрицать, хоть обвинил я его несправедливо. Гордость у него, видно, дьявольская.

– И ты, пан полковник, всюду говоришь, что он не изменник?

– Покуда нет, потому что сам не знал, а теперь буду говорить. Нехорошо даже о самом лютом враге говорить такие облыжные слова.

Глаза панны Александры еще раз остановились на маленьком рыцаре с дружеским расположением и благодарностью.

– Ты, пан полковник, на редкость достойный человек, на редкость…

От удовольствия Володыёвский стал усиленно топорщить усики.

«Смелей, Михалек! Смелей, Михалек!» – подумал он про себя.

А вслух сказал:

– Я тебе больше скажу, милостивая панна! Не одобряю я средств пана Кмицица, но не удивительно мне, что он так тебя добивался: сама Венера годится тебе разве что в служанки. С отчаяния решился он на дурное дело и, пожалуй, в другой раз решится, пусть только представится случай. Как же ты при неописанной такой красоте останешься одна, без опеки? Много всяких Кмицицев на свете, многие страстью к тебе воспылают, и многие опасности будут грозить твоей невинности. По милости Божией я избавил тебя от беды, но меня зовут уже трубы Марса. Кто же будет стеречь тебя?.. Милостивая панна, говорят, будто солдаты ветрены, но это неправда. Ведь сердце не камень, вот и у меня не могло оно остаться равнодушным к стольким неизъяснимым прелестям… – Тут Володыёвский упал перед Оленькой на колени. – Милостивая панна, – продолжал он, стоя на коленях, – я унаследовал после твоего дедушки хоругвь, позволь же мне унаследовать и внучку. Доверь мне опеку над собою, позволь вкусить сладость взаимной любви, возьми в постоянные покровители, а ты будешь жить в мире и безопасности, ибо, если я и на войну уеду, само имя мое будет тебе защитой.

Панна Александра вскочила со стула и в изумлении слушала Володыёвского, а он между тем продолжал:

– Я бедный солдат, но я шляхтич, человек достойный, и, клянусь Богом, ни единого пятна нет ни на моем щите, ни на совести. Может, тем только я согрешил, что поторопился; но и это ты должна понять: отчизна меня зовет, которой я не изменю даже ради тебя… Может, обрадуешь ты меня? Может, обрадуешь? Может, скажешь мне доброе слово?

– Пан полковник, ты требуешь от меня невозможного!.. Ради Христа! Немыслимое это дело! – в страхе ответила Оленька.

– Все в твоей воле…

– Потому я и отвечаю тебе решительно: нет! – Панна Александра нахмурила брови. – Пан полковник, не стану отпираться, я в долгу перед тобою. Проси чего хочешь, я все готова отдать тебе, но не руку.

Володыёвский встал:

– Ты меня не хочешь?

– Я не могу!

– И это твое последнее слово?

– Последнее и бесповоротное.

– А может, тебе только то не по нраву, что я так поторопился? Дай же мне надежду!

– Не могу, не могу!..

– Нет мне тут счастья, и нигде его не было! Милостивая панна, не предлагай же мне платы за услугу, не за тем я к тебе приехал, а что руки твоей просил, так не в отплату. Да если бы ты ответила мне, что отдаешь мне руку по долгу, не по доброй воле, я бы отказался. Нет воли, нет доли. Пренебрегла ты мною, смотри же, чтобы не случился тебе кто-нибудь похуже меня. Ухожу я из этого дома, как пришел, но только никогда уж больше сюда не ворочусь. Ни во что меня тут не ставят. Такая уж моя доля. Будь счастлива, хоть с тем же Кмицицем, потому ты, может, за то на меня гневаешься, что я с саблей стал между вами. Коли он тебе люб, так ты и впрямь не про меня.

Оленька сжала руками виски.

– Боже, Боже, Боже! – повторила она несколько раз.

Но и муки ее не смягчили Володыёвского, – отвесив поклон, он вышел сердитый и злой, тотчас сел на коня и уехал.

– Ноги моей больше тут не будет! – громко сказал он.

Стремянный Сыруц, следовавший за своим господином, тотчас подъехал к нему:

– Что ты сказал, пан полковник?

– Дурень! – ответил Володыёвский.

– Это ты, пан полковник, сказал мне, как мы сюда ехали.

Воцарилось молчание.

– Черной неблагодарностью меня тут накормили, – снова забормотал пан Михал. – Презрением ответили на любовь! Видно, до гроба ходить мне в кавалерах. Так уж на роду написано! Черт бы ее взял, долю такую! Что ни сунусь, то отказ!.. Нет правды на этом свете! И чем я ей не угодил? – Нахмурил тут Володыёвский брови, пораскинул умом и вдруг хлопнул себя по ляжке. – Знаю! – воскликнул он. – Это она все еще того любит! В этом все дело!

Но при мысли об этом лицо его не прояснилось.

«Тем хуже для меня, – подумал он через минуту. – Уж коли она после всего, что сталось, все еще его любит, так и не перестанет любить. Все самое худое, что он мог сделать, он уже сделал. Пойдет воевать, добьется славы, и люди забудут про худые его дела. И не пристало мне мешать ему, скорее помочь надо, ведь это на благо отчизны. Вот оно дело какое! Солдат он добрый… Однако же чем он ее так прельстил? Кто его знает? Иной дар такой имеет, что стоит ему только взглянуть на девушку, и та готова за ним в огонь и воду. Кабы знать, как это делается, или талисман добыть, может, и мне удалось бы. По заслугам девушки нас не жалуют. Верно говорил пан Заглоба, что лиса и баба – самые изменчивые творения на свете. А уж так мне жаль, что все пропало! Очень она хороша, да и, говорят, добродетельна. Горда, видно, как Сатана… Как знать, пойдет ли она за него, хоть и любит, – очень он обманул ее и оскорбил. Ведь мог все по-хорошему сделать, а предпочел своевольничать… Она и от замужества готова совсем отказаться, и от детей… Мне тяжело, а ей, бедняжке, еще тяжелей!..»

Тут Володыёвский стал сокрушаться о судьбе Оленьки, и головой покачал, и губами причмокнул.

– Пусть уж ей Бог будет покровителем! – сказал он наконец. – Я на нее не в обиде! Для меня это не первый отказ, а для нее первая мука. Бедняжка чуть жива от горя, а я ей еще глаза колол этим Кмицицем, вовсе уж напоил желчью. Нехорошо получилось, надо как-то исправить ошибку. Побей меня бог, недостойно я поступил. Напишу-ка я ей письмецо, попрошу прощения, а там и помогу, чем можно будет.

Дальнейшие размышления Володыёвского прервал стремянный Сыруц, который снова поравнялся с ним и сказал:

– Пан полковник, а ведь там, на горе, пан Харлампп с кем-то едет.

– Где?

– А вон там!

– И впрямь двое едут: но ведь пан Харлампп остался при князе воеводе виленском. Да и как ты мог издали признать его?

– А по буланой. Ее все войско знает.

– Клянусь Богом, буланую видно. Но, может, это не та.

– Да я и побежку ее узнаю. Это наверняка пан Харлампп.

Они оба наддали ходу; всадники, ехавшие навстречу им, тоже пришпорили коней, и вскоре Володыёвский увидел, что к нему и в самом деле скачет Харлампп.

Это был поручик панцирной хоругви литовского войска, давний знакомый Володыёвского, испытанный старый солдат. Когда-то они с маленьким рыцарем очень враждовали, но потом послужили вместе, повоевали и полюбили друг друга. Володыёвский подскакал к Харлампу и, раскрыв объятия, крикнул:

– Как поживаешь, Носач? Откуда ты взялся?

Товарищ, которому и в самом деле очень пристало прозвище Носач, потому что он был обладателем весьма внушительного носа, упал в объятия полковника, и они радостно приветствовали друг друга.

– Я к тебе нарочным послан, – сказал он, отдышавшись, – да еще с деньгами.

– Нарочным, да еще с деньгами? От кого же?

– От князя воеводы виленского, нашего гетмана. Он шлет тебе грамоту, чтобы немедля набирать людей в войско, и другую – пану Кмицицу, который должен быть тоже где-то в здешних местах.

– И пану Кмицицу? Как же мы вдвоем будем набирать в одной округе?

– Он должен ехать в Троки, а ты должен остаться здесь.

– А как ты узнал, где меня искать?

– Сам пан гетман о тебе расспрашивал, пока здешние люди, которые еще служат у нас в войске, не сказали ему, где тебя искать, так что я ехал наверняка. В большой ты у князя чести! Я сам слыхал, как он говорил, что ничего не надеялся получить в наследство от воеводы русского, а получил самого великого рыцаря.

– Дай Бог ему, как воеводе русскому, и в войне удачи! Большая это для меня честь – набирать войско, и я тотчас возьмусь за дело. Военного люду здесь много, было бы на что снарядить. Денег ты много привез?

– Вот приедешь в Пацунели, сочтешь.

– Так ты уже и в Пацунелях успел побывать? Берегись, красавиц там, как маку в огороде.

– Потому тебе там и понравилось!.. Погоди, у меня и письмо тебе есть от гетмана.

– Давай!

Харламп вынул письмо с малой радзивилловской печатью, Володыёвский вскрыл его и стал читать:

«Милостивый пан полковник Володыёвский!

Зная твое горячее желание послужить отчизне, посылаем тебе грамоту на набор войска, притом набирать надлежит не так, как всегда сие делается, а с особым усердием, ибо periculum in mora[14]. Коли хочешь порадовать нас, хоругвь твоя должна быть готова к походу в конце июля и не далее середины августа. Весьма и весьма заботит нас, где ты добудешь добрых коней, тем паче что и денег посылаем тебе малую толику, ибо вымолить больше у пана подскарбия, и поныне нам неприязненного, мы не могли. Половину денег отдай пану Кмицицу, коему пан Харламп также везет грамоту. Надеемся, что и пан Кмициц усердно нам послужит. Однако же до нашего слуха дошли вести об его своеволии в Упите; посему грамоту, ему предназначенную, лучше сам получи и сам реши, отдавать ему или нет. Буде сочтешь, что слишком много на нем gravamina[15], кои позорят его, тогда не отдавай! Мы опасаемся, как бы наши недруги, пан подскарбий и пан воевода витебский, не подняли шум, что таковые поручения мы возлагаем на людей недостойных. Буде сочтешь, что ничего особо важного не случилось, вручи грамоту, и пусть Кмициц усердною службою постарается искупить свою вину и не является ни в какие суды, ибо он нам, гетманам, подсуден, и мы одни будем судить его, но по исполнении приказа. Наше поручение прими, милостивый пан, как знак доверия к тебе, твоему разуму и преданности.

Януш Радзивилл, князь Биржанский и Дубинковский, воевода Виленский».

– Очень пан гетман о лошадях беспокоится, – сказал Харламп, когда маленький рыцарь кончил читать письмо.

– Да, с лошадьми будет трудно, – подтвердил Володыёвский. – Здешней мелкой шляхты явится множество, стоит только кликнуть клич; но у нее одни жмудские мерины, для службы мало пригодные. Коли на то пошло, надо бы всем дать других лошадей.

– Хорошие это лошади, я их давно знаю, они очень ловки и выносливы.

– Да, – сказал Володыёвский, – но они малы, а народ здесь рослый. Как станут люди в строй на таких лошадках, можно подумать, хоругвь сидит верхом на собаках. Ведь вот беда

[14] В промедлении опасность *(лат.)*.

[15] Тягостей, тяжестей *(лат.)*.

какая!.. Я усердно возьмусь за работу, потому и сам спешу. Оставь же мне и грамоту для Кмицица, как велит пан гетман, я сам ее отдам. Пришла она в самое время.

– Почему?

– Да он тут вздумал татарские обычаи заводить, девушку умкнул. Жалоб на него подано, судебных повесток ему прислано, что волос на голове. И недели не прошло, как я с ним на саблях дрался.

– Ну, – сказал Харламп, – коли ты с ним дрался на саблях, так он теперь пластом лежит.

– Ему уже получше. Через недельку-другую встанет. Что там слышно de publicis?[16]

– Дела по-прежнему плохи. Пан подскарбий Госевский все с нашим князем воюет, а когда между гетманами нет мира, то и дело нейдет на лад. Мы уж как будто оправились, и коли будет только у нас согласие, я думаю, одолеем врагов. Даст Бог, на их же спинах въедем в их же державу. Во всем пан подскарбий виноват.

– А другие говорят, великий гетман.

– Это изменники. Так говорит воевода витебский, но ведь он и подскарбий давно снюхались.

– Воевода витебский достойный гражданин.

– Неужто и ты держишь сторону Сапег, неужто и ты против Радзивиллов?

– Я на стороне отчизны, и все мы должны стоять на ее стороне. В том-то и беда, что даже мы, солдаты, вместо того чтобы сражаться, делимся на станы. А что Сапега – достойный гражданин, так я бы это и при самом князе сказал, хоть служу у него под началом.

– Люди достойные пробовали их примирить, да все впустую! – сказал Харламп. – Король теперь гонца за гонцом шлет к нашему князю. Толкуют, будто что-то новое затевается. Мы ждали ополчения с королем, да так и не дождались! Говорят, в другом месте оно понадобится.

– Верно, на Украине.

– Откуда мне знать? Только вот поручик Брохвич рассказал нам как-то, что` он слышал собственными ушами. От короля к нашему гетману приехал Тизенгауз, и они, запершись, долго о чем-то беседовали, а о чем – Брохвич не мог разобрать; но когда выходили, он, говорю тебе, собственными ушами слышал, как пан гетман сказал: «От этого новая война может произойти». Никак мы не могли догадаться, что бы это могло значить.

– Брохвич, верно, ослышался! С кем же может быть новая война? Цесарь нынче больше к нам благоволит, нежели к нашим врагам; так оно и следует поддерживать политичный народ. Со шведом у нас перемирие, и срок кончится только через шесть лет, а татары на Украине нам помогают, чего они не стали бы делать против воли турка.

– Вот и мы ничего не могли понять!

– Да ничего и не было. Но у меня, слава богу, новая работа. Стосковался уж я по войне.

– Так ты сам хочешь отвезти грамоту Кмицицу?

– Я ведь говорил тебе, что так пан гетман велит. По рыцарскому обычаю, должен я посетить Кмицица, а тут у меня и предлог будет благовидный. Вот отдам ли я грамоту – это дело другое; там погляжу, гетман оставил это на мое усмотрение.

– И мне это на руку, потому я спешу. У меня еще третья грамота, пану Станкевичу; а потом велено ехать в Кейданы, пушку получить, которую туда доставят, ну и в Биржи еще надо заехать, посмотреть, готов ли замок к обороне.

– И в Биржи?

– Да.

– Странно мне это. Никаких новых побед враг не одерживал, стало быть, до Бирж, до курляндской границы, ему далеко. Вижу я, что и хоругви новые набирают, – стало быть, будет кому

[16] О делах государственных *(лат.)*.

отвоевывать и те земли, которые уже захватил враг. Курляндцы о войне с нами и не помышляют. Солдаты они добрые, да мало их, Радзивилл одной рукой их раздавит.

– И мне это странно, – сказал Харлампо. – Тем паче что князь велел спешить и, коли в замке что не так, тотчас дать знать князю Богуславу, чтобы тот прислал инженера Петерсона.

– Что бы это могло значить? Только бы усобица не началась. Избави Бог от такой беды! Уж если князь Богуслав берется за дело, черту тут будет потеха.

– Не говори так о нем. Он храбрый рыцарь!

– Я не спорю, что он храбр, но не поляк он, а больше немец или какой-нибудь француз. О Речи Посполитой он вовсе не думает, об одном только помышляет, как бы дом Радзивиллов вознести превыше всех, а прочие дома унизить. Он и в нашем гетмане, князе воеводе виленском, гордость разжигает, которой у того и так предостаточно, и распри с Сапегами и Госевским – это его рук дело.

– Я вижу, ты великий державный муж. Надо бы тебе, Михалек, жениться поскорее, а то зря такой ум пропадает.

Володыёвский пристально поглядел на товарища:

– Жениться? Гм, гм!

– Ясное дело! А может, ты волочиться ездишь, ишь разрядился, как на парад.

– Ах, оставь!

– Да ты признайся!..

– Всяк пусть ест свои арбузы, а про чужие нечего спрашивать, сам небось не один уж съел. Нечего сказать, время думать о женитьбе, когда надо хоругвь набирать.

– А к июлю будешь готов?

– К концу июля, хоть бы лошадей из-под земли пришлось добывать. Благодарение Богу, есть у меня теперь работа, а то пропал бы я с тоски.

Вести от гетмана и тяжелый труд, который ждал его впереди, принесли Володыёвскому большое облегчение, и пока они с Харлампом доехали до Пацунелей, он и думать забыл о неудаче, которая постигла его какой-нибудь час назад. Слух о грамоте тотчас разнесся по застянку. Шляхтичи сбежались узнать, правда ли, что получена грамота; когда Володыёвский подтвердил это, весть о наборе вызвала всеобщее одушевление. Все хотели вступить в хоругвь, лишь немногих смутило то, что отправляться в поход надо будет в конце июля, перед самой жатвой. Володыёвский разослал гонцов и в другие застянки, и в Упиту, и в знатные шляхетские дома. Вечером приехало человек двадцать Бутрымов, Стакьянов и Домашевичей.

Все они подбодряли друг друга, охотников находилось все больше, все грозились врагу и сулили себе победу. Одни только Бутрымы молчали, но их за это никто не осуждал: известно было, что они встанут как один человек. На следующий день поднялись все застянки. Не было уже разговоров ни о Кмицице, ни о панне Александре, все толковали только о походе. Володыёвский от души простил Оленьке отказ, утешал себя тем, что и отказ не последний, и любовь у него не последняя. А тем временем стал он подумывать о том, что же делать с грамотой Кмицица.

Глава IX

Для Володыёвского началась пора тяжких трудов, рассылки писем, разъездов. На следующей же неделе он перебрался в Упиту и начал там вербовать людей. Шляхта к нему валом валила, и побогаче и победней, потому что снискал он себе громкую славу. Но особенно охотно шли к нему лауданцы, для которых надо было добывать лошадей. Кипел как в котле Володыёвский, но был он расторопен, трудов не жалел, и дело у него шло на лад. Тогда же посетил он в Любиче Кмицица, который успел уже немного поправиться, и хотя не вставал еще с постели, но ясно было, что выздоровеет. Видно, сабля у Володыёвского была острая, но рука легкая.

Кмициц тотчас признал гостя и при виде его побледнел. Рука его невольно потянулась к сабле, висевшей в изголовье, однако он тут же опомнился и, увидев на лице гостя улыбку, протянул ему исхудавшую руку и сказал:

– Спасибо, милостивый пан, за посещенье. Учтивость, достойная такого кавалера, как ты.

– Я приехал спросить тебя, милостивый пан, не затаил ли ты в душе обиды на меня? – спросил пан Михал.

– Обиды я не затаил, потому не кто-нибудь победил меня, а первейший рубака. Насилу выхворался!

– А как теперь твое здоровье, милостивый пан?

– Тебе, верно, то удивительно, что я из твоих рук живым вышел? Я и сам признаюсь, что нелегкое было это дело.

Тут Кмициц улыбнулся:

– Впрочем, еще не все потеряно. Можешь кончить меня, когда захочешь!

– А я не за тем сюда приехал…

– Ты либо дьявол, либо талисманом владеешь. Видит бог, не до похвальбы мне сейчас, вроде с того света воротился, но до встречи с тобой я всегда думал: коли не первый я рубака на всю Речь Посполитую, так второй. А меж тем слыхано ли дело! Да, когда бы ты захотел, я бы не отразил и первого твоего удара. Скажи мне, где ты так обучился?

– И способности были природные, – ответил пан Михал, – да и отец сызмальства приучал, не раз он говаривал мне: «Неказист ты уродился: коли не станут люди тебя бояться, так будут над тобою смеяться». Ну а доучился я уж в хоругви, когда служил у воеводы русского. Были там рыцари, которые смело могли выйти против меня.

– Неужто были такие?

– Как не быть, были. Пан Подбипятка, литвин, родовитый шляхтич, он в Збараже сложил голову, – упокой, Господи, его душу! Такой он был непомерной силы, что от него нельзя было прикрыться: он и прикрытие проткнет, и тебя проколет. Потом еще Скшетуский, сердечный друг мой и наперсник, ты о нем, наверно, слыхал.

– Как же, как же! Это ведь он вышел из Збаража и прорвался сквозь толпу казаков. Кто о нем не слыхал!.. Так ты вот из каких?! И в Збараже был?.. Хвала и честь тебе! Погоди-ка!.. А ведь я и о тебе слыхал у виленского воеводы. Тебя ведь Михалом звать?

– Да, я Ежи Михал, но святой Ежи только огненного змея зарубил, а Михал – предводитель всего небесного воинства и столько одержал побед над легионами бесов, что я предпочитаю иметь его своим покровителем.

– Что верно, то верно, далеко Ежи до Михала. Так это ты тот самый Володыёвский, о котором говорили, что он зарубил Богуна?

– Я самый.

– Ну, от таковского не обидно получить по башке. Дай-то Бог, чтобы мы стали друзьями. Правда, ты меня изменником назвал, но тут ты ошибся.

При этих словах Кмициц поморщился так, точно у него снова заныла рана.

– Каюсь, ошибся, – ответил Володыёвский. – Но не от тебя узнаю я, что ты не изменник, люди твои мне это сказали. Знай же, иначе я бы к тебе не приехал.

– Ну и языки же чесали тут, ну и чесали! – с горечью произнес Кмициц. – Будь что будет. Каюсь, не один грех на моей совести, но и люди здешние худо меня приняли.

– Ты больше всего повредил себе тем, что спалил Волмонтовичи да увез панну Биллевич.

– Вот они и жмут меня жалобами. Лежат уж у меня повестки. Не дадут мне, больному, поправиться. Это верно, что я спалил Волмонтовичи и людей там порубил; но Бог мне судья, коли сделал я это по самовольству. В ту самую ночь, перед пожаром, я дал себе обет: со всеми жить в мире, расположить к себе сермяжников, даже в Упите ублажить сиволапых, потому там я тоже очень насвоевольничал. Воротился домой – и что же вижу? Товарищи мои, как волы, зарезаны, лежат под стеной! Как узнал я, что все это Бутрымы сотворили, бес в меня вселился, жестоко я им отомстил. Ты не поверишь, если я скажу тебе, за что их зарезали. Я сам дознался об этом от одного из Бутрымов, которого в лесу поймал: их за то зарезали, что они в корчме хотели поплясать с шляхтянками! Кто бы не стал мстить за такое?

– Милостивый пан, – воскликнул Володыёвский, – это верно, что с твоими товарищами жестоко расправились, но шляхта ли их убила? Нет! Убила их та недобрая слава, которую они привезли с собою, – ведь честных солдат никто не стал бы убивать, если бы им вздумалось пуститься в пляс!

– Бедняги! – говорил Кмициц, следуя за ходом своих мыслей. – Когда я лежал здесь в горячке, они каждый вечер входили вон в ту дверь, из того покоя. Как наяву, видел я их у своей постели, синих, изрубленных. «Ендрусь, – стонали они, – дай на службу за упокой души усопших, ибо тяжкие терпим мы муки!» Говорю тебе, у меня волосы встали дыбом, в доме от них даже серой пахло… На службу я уж дал, только бы это помогло им!

На минуту воцарилось молчание.

– А теперь про увоз, – продолжал Кмициц. – Никто тебе не мог сказать, что она мне жизнь спасла, когда за мною гналась шляхта, но потом велела пойти прочь и не показываться ей на глаза. Что же мне еще оставалось?!

– Все равно татарский это обычай.

– Ты, верно, не знаешь, что такое любовь и до какого отчаяния может дойти человек, когда потеряет то, что любил больше всего на свете.

– Это я-то не знаю, что такое любовь? – в негодовании воскликнул Володыёвский. – Да с тех пор, как я начал носить саблю, я всегда был влюблен! Правда, subiectum[17] менялся, ибо никогда мне не платили взаимностью. Когда б не это, на свете не было б верней Троила, чем я.

– Что это за любовь, коли subiectum менялся? – сказал Кмициц.

– Тогда я расскажу тебе одну историю, которой сам был свидетелем. После того как началась война с Хмельницким, Богун, который теперь, после смерти Хмельницкого, пользуется у казаков самым большим почетом, похитил у Скшетуского девушку, которую тот любил больше жизни, княжну Курцевич. Вот это была любовь! Все войско плакало, глядя, как убивается Скшетуский. Лет двадцать с небольшим было ему, а борода у него вся побелела. А знаешь ли ты, что он сделал?

– Откуда же мне знать?

– В годину войны, когда отчизна была унижена и грозный Хмельницкий праздновал победу, он и не подумал пойти на поиски девушки. Страдания свои принес на алтарь Богу и под начальством Иеремии сражался во всех битвах, а под Збаражем покрыл себя такой великой славою, что и теперь имя его все повторяют с уважением. Сравни же, милостивый пан, его поступок и свой, и ты поймешь разницу.

---

[17] Предмет *(лат.)*.

Кмициц молчал, покусывая ус.

– И Бог вознаградил Скшетуского, – продолжал Володыёвский, – вернул ему девушку. Сразу же после битвы под Збаражем они поженились и уже троих детей родили, хотя он не перестал служить. А ты, чиня усобицу, помогал тем самым врагу и сам чуть не лишился жизни, не говоря уж о том, что дня два назад мог навсегда потерять невесту.

– Как так?! – садясь на постели, воскликнул Кмициц. – Что с ней случилось?

– Ничего с ней не случилось, только нашелся кавалер, который просил у нее руки и желал взять ее в жены.

Кмициц страшно побледнел, запавшие глаза его сверкнули гневом. Он хотел встать, даже на минуту сорвался с постели и крикнул:

– Кто он, этот вражий сын? Христом Богом молю, говори!

– Я! – ответил Володыёвский.

– Ты? Ты? – в изумлении спрашивал Кмициц. – Как же так?

– Да вот так.

– Предатель! Это тебе так не пройдет!.. И она – Христом Богом молю, говори все! – она приняла твое предложение?

– Наотрез отказала, не раздумывая.

На минуту воцарилось молчание. Кмициц тяжело дышал, впившись глазами в Володыёвского.

– Почему ты называешь меня предателем? – спросил тот у него. – Что я тебе, брат или сват? Что я, обещание нарушил, данное тебе? Я победил тебя в равном поединке и мог поступать, как мне вздумается.

– По-старому один из нас заплатил бы за это кровью. Не зарубил бы я тебя, так из ружья бы застрелил, и пусть бы меня потом черти взяли.

– Разве что из ружья застрелил бы, потому на поединок, не откажи она мне, я бы в другой раз с тобою не вышел. Зачем было бы мне драться? А знаешь, почему она мне отказала?

– Почему? – как эхо повторил Кмициц.

– Потому что любит тебя.

Это было уж слишком для слабых сил больного. Голова Кмицица упала на подушки, лоб покрылся потом, некоторое время юноша лежал в молчании.

– Страх как худо мне, – сказал он через минуту. – Откуда же ты знаешь, что она… любит меня?

– Глаза у меня есть, вот я и гляжу; ум у меня есть, вот я и смекаю, а уж после отказа в голове у меня все прояснилось. Первое: когда после поединка пришел я сказать ей, что она свободна, что я зарубил тебя, она обмерла и, вместо того чтобы меня поблагодарить, вовсе пренебрегла мною; второе: когда несли тебя сюда Домашевичи, она, словно как мать, твою голову поддерживала; третье: когда сделал я ей предложение, она так ответила мне, будто оплеуху дала. Коли этого тебе мало, стало быть, ты просто упрям и неразумен…

– Если только это правда, – слабым голосом проговорил Кмициц, – то… всякими мазями рану мне натирают, но нет лучше бальзама, чем твои слова.

– Так неужели предатель дает тебе такой бальзам?

– Ты уж прости меня. Это такое счастье! В голове у меня не может уложиться, что она все еще меня не отвергает.

– Я сказал, что она тебя любит, а вовсе не сказал, что она тебя не отвергает. Это дело совсем другое.

– А отвергнет она меня, так я голову себе разобью об эту стенку. Не могу я иначе.

– А мог бы, когда бы всей душой хотел искупить свою вину. Теперь война, ты можешь пойти в поход, можешь верой и правдой послужить отчизне, прославиться своей храбростью, вернуть свое доброе имя. Кто из нас без греха? У кого нет грехов на совести? У всех они есть.

Но всем открыта дорога к раскаянию и исправлению. Своевольничал ты – так теперь избегай своеволия; против отчизны грешил, затевая усобицы во время войны, – так теперь спасай ее; людям обиды чинил – так теперь вознагради их… Вот путь, который легче и надежней, чем разбивать себе голову.

Кмициц пристально смотрел на Володыёвского.

– Ты как сердечный друг говоришь со мною, – сказал он.

– Не друг я тебе, но, по правде сказать, и не недруг, а девушку, хоть она мне и отказала, мне все-таки жаль, потому что на прощанье я зря наговорил ей много нехорошего. От отказа я не повешусь, мне не впервой, а вот обиду таить я не привык. Коли я тебя на добрый путь наставлю, так это будет и моя заслуга перед отчизной, – ведь ты хороший и испытанный солдат.

– А не поздно ли мне становиться на добрый путь? Столько ждет меня повесток! С постели надо прямо являться в суд… Разве что бежать отсюда, а этого мне не хочется делать. Столько повесток! И что ни дело, то верный приговор и бесчестие.

– Вот у меня от этого лекарство! – сказал Володыёвский, вынимая грамоту.

– Грамота на набор войска? – воскликнул Кмициц. – Кому?

– Тебе. И да будет тебе известно, что отныне ты не должен являться ни в какие суды, потому что состоишь на воинской службе и подсуден гетману. Послушай же, что пишет мне князь воевода.

Володыёвский прочитал Кмицицу письмо Радзивилла, вздохнул, встопорщил усики и сказал:

– Как видишь, все в моей воле: могу отдать тебе грамоту, могу ее спрятать.

Неуверенность, тревога и надежда изобразились на лице Кмицица.

– И что же ты сделаешь? – спросил он тихим голосом.

– Вручу тебе грамоту, – ответил Володыёвский.

Кмициц ничего сперва не сказал, только голову опустил на подушки и некоторое время смотрел в потолок. Вдруг глаза его увлажнились, и слезы, неведомые гости на этих глазах, повисли на ресницах.

– Пусть же меня к конским хвостам привяжут и размыкают по полю, – сказал он наконец, – пусть с меня шкуру сдерут, если я видел человека более достойного, чем ты, милостивый пан. Если ты из-за меня получил отказ, если Оленька, как ты говоришь, по-прежнему меня любит, так ведь другой тем злее стал бы мстить, тем злее топить… А ты руку мне протянул, воскресил меня!

– Не хочу я ради приватных дел жертвовать милой отчизной, которой ты еще можешь оказать немалые услуги. Должен, однако же, сказать тебе, что, если бы ты взял казаков у Трубецкого или Хованского, я бы грамоты тебе не отдал. Счастье, что ты этого не сделал!

– За образец, за образец должны принять тебя другие! – ответил Кмициц. – Дай же мне руку. Даст Бог, я отплачу тебе за это добром, должник я твой до гроба!

– Вот и отлично! Но об этом потом! А теперь… голову выше! Не надо тебе под суд идти, а надо за работу браться. Будут у тебя заслуги перед отчизной, так и шляхта тебя простит, которой честь отчизны дорога. Ты еще можешь искупить свою вину, вернуть свое доброе имя и жить в сиянии славы, как в лучах солнца, а я уж знаю одну девушку, которая подумает, как наградить тебя при жизни.

– Э! – в восторге воскликнул Кмициц. – Что это я буду в постели валяться, когда враг попирает отчизну! Эй, есть там кто? Сюда! Слуга, подавай сапоги!.. Мигом! Разрази меня гром, если я буду еще нежиться в этих пуховиках!

Услышав эти слова, Володыёвский довольно улыбнулся и сказал:

– Дух у тебя сильнее тела, телом ты еще слаб.

И он стал прощаться, но Кмициц не отпускал его, благодарил, хотел угостить вином.

Совсем уже вечерело, когда маленький рыцарь покинул Любич и направился в Водокты.

– Лучшей наградой ей будет за мои злые слова, – говорил он сам с собою, – если я скажу ей, что Кмициц не только на пути к выздоровлению, но и на пути к исправлению. Не совсем он еще потерянный человек, только уж очень горячая голова. Страх как я ее этим обрадую, думаю, теперь она лучше меня примет, чем тогда, когда я предлагал ей руку и сердце. – Тут добрейший пан Михал вздохнул и пробормотал: – Кабы знать хоть, есть ли она на свете, моя суженая?

Погруженный в такие размышления, доехал он до Водоктов. Косматый жмудин выбежал к воротам, однако не спешил отворять.

– Панны дома нет, – сказал он только.

– Уехала?

– Да, уехала.

– Куда?

– Кто его знает?

– А когда воротится?

Погруженный в такие размышления, доехал он до Водоктов. Косматый жмудин выбежал к воротам, однако не спешил отворять.

– Кто его знает?

– Да говори же ты по-человечески! Не говорила, когда воротится?

– Верно, вовсе уж не воротится, потому с телегами уехала и с узлами. Стало быть, далеко и надолго.

– Так? – пробормотал пан Михал. – Вот что я натворил!..

Глава X

Когда теплые лучи солнца начинают прорываться сквозь пелену зимних облаков и на деревьях показываются первые побеги, а в сырых полях пробиваются наружу зеленые росточки, в людских сердцах просыпается обычно надежда. Но весна тысяча шестьсот пятьдесят пятого года не принесла обычного утешения удрученному войной народу Речи Посполитой. Вся восточная ее граница, от севера и до Дикого Поля на юге, как бы опоясалась огненной лентой, и весенние ливни не могли погасить пожар, напротив, огненная лента разливалась все шире и захватывала все больше земель. Кроме того, грозные знамения появились на небе, предвещая еще горшие бедствия. Из облаков, проносившихся в небе, то и дело вырастали словно высокие башни, словно крепостные валы, которые затем рушились с грохотом. Гром гремел раскатом, когда земля еще была покрыта снегом, сосновые леса желтели, а ветви на деревьях скручивались, принимая странный, уродливый вид; звери и птицы погибали от неведомой болезни. Наконец и на солнце были замечены небывалые пятна в виде руки, держащей яблоко, пронзенного сердца и креста. Умы волновались все больше, и монахи терялись в догадках, что` могут предвещать эти знамения. Странная тревога охватила все сердца.

Предсказывали новые войны, и вдруг бог весть откуда возник зловещий слух и, переходя из уст в уста, разнесся по городам и весям, будто близится нашествие шведов. Казалось, ничто не подтверждало этого слуха; ибо перемирие, заключенное с Швецией, сохраняло силу еще шесть лет, и все же об опасности войны говорили даже на сейме, который король Ян Казимир созвал девятнадцатого мая в Варшаве.

Все больше тревожных взоров обращалось к Великой Польше, на которую буря могла обрушиться в первую голову. Лещинский, воевода ленчицкий, и Нарушевич, польный писарь литовский, направились с посольством в Швецию; однако их отъезд не успокоил людей, а еще больше взбудоражил.

«Это посольство пахнет войной», – писал Януш Радзивилл.

– Если бы шведы не грозили нашествием, зачем было бы отправлять к ним посольство? – говорили другие. – Ведь совсем недавно из Стокгольма вернулся посол Каназиль; да, видно, ничего не сумел он сделать, коли вслед за ним сразу же послали столь важных сенаторов.

Люди рассудительные все еще не верили в возможность войны.

Речь Посполитая, твердили они, не дала шведам никакого повода для войны, и перемирие все еще сохраняет силу. Как можно попрать присягу, нарушить самые священные договоры и по-разбойничьи напасть на соседа, не подозревающего об опасности? К тому же Швеция еще помнит раны, нанесенные ей польской саблей под Кирхгольмом, Пуцком и Тщцяной! Во всей Европе не нашел Густав Адольф достойного противника, а пан Конецпольский смирял его несколько раз. Не станут шведы ставить на карту великую славу, завоеванную ими, и вступать в войну с противником, которого они никогда не могли одолеть на поле брани. Это верно, что Речь Посполитая истощена и ослаблена войною, однако одной только Пруссии и Великой Польши, которая в последних войнах совсем не пострадала, достаточно, чтобы прогнать за море этот голодный народ и оттеснить его к бесплодным скалам. Не бывать войне!

Люди неспокойные возражали на это, что еще до варшавского сейма сеймик в Гродно держал, по уговору короля, совет о защите великопольских рубежей и составил роспись податей и войск, чего он не стал бы делать, когда бы опасность не была близка.

Так надежда сменялась опасением и тяжелая неуверенность угнетала души людей, когда этому внезапно положил предел универсал генерального старосты великопольского Богуслава Лещинского, которым созывалось шляхетское ополчение познанского и калишского воеводств для защиты границ от грозящего стране шведского нашествия.

Сомнений больше не было. Клич: «Война!» – разнесся по всей Великой Польше и по всем землям Речи Посполитой.

Это была не просто война, а новая война. Хмельницкий, которому помогал Бутурлин, грозился на юге и на востоке, Хованский и Трубецкой – на севере и востоке, швед приближался с запада! Огненная лента обращалась в огненное кольцо.

Страна была подобна осажденному лагерю.

А в этом лагере недобрые творились дела. Один предатель, Радзеёвский, уже бежал во вражеский стан. Это он направлял врагов на готовую добычу, он указывал на слабые стороны, он должен был склонять к предательству гарнизоны. Сколько было, помимо того, неприязни и зависти, сколько было магнатов, враждовавших друг с другом или косо смотревших на короля за то, что он отказал им в чинах, и ради личных выгод готовых в любую минуту пожертвовать благом отчизны; сколько было иноверцев, стремившихся отпраздновать свое торжество пусть даже на могиле отчизны; но еще больше было своевольников и людей равнодушных и ленивых, которые любили только самих себя, свое богатство и свою праздную жизнь.

Однако богатая и еще не опустошенная войною Великая Польша не жалела денег на оборону. Города и шляхетские деревни выставили столько пехоты, сколько полагалось по росписи, и прежде, чем шляхта самолично двинулась в стан, туда потянулись уже пестрые полки ратников под командой ротмистров, назначенных сеймиками из людей, искушенных в военном деле.

Станислав Дембинский вел познанских ратников; Владислав Влостовский – костянских, а Гольц, славный солдат и инженер, – валецких. У калишских мужиков булаву ротмистра держал Станислав Скшетуский, принадлежавший к семье храбрых воителей, брат Яна, знаменитого участника битвы под Збаражем. Кацпер Жихлинский вел конинских мельников и солтысов. Ратников из Пыздров возглавлял Станислав Ярачевский, который провел молодые годы в иноземных войсках; ратников из Кцини – Петр Скорашевский, а из Накла – Квилецкий. Однако никто из них в военном опыте не мог сравниться с Владиславом Скорашевским, к голосу которого прислушивались даже сам командующий великопольским войском и воеводы.

В трех местах – под Пилой, Уйстем и Веленем – заняли ротмистры рубежи по реке Нотец и стали ждать приближения шляхты, созванной в ополчение. С утра до вечера пехотинцы рыли шанцы, все время оглядываясь, не едет ли долгожданная конница.

Тем временем прибыл первый вельможа, пан Анджей Грудзинский, калишский воевода, и со всей своей большой свитой в белых и голубых мундирах остановился в доме бурмистра. Он думал, что его тотчас окружит калишская шляхта; однако никто не явился, и он послал тогда за ротмистром, Станиславом Скшетуским, который следил за рытьем шанцев на берегу реки.

– А где же мои люди? – спросил он после первых приветствий у ротмистра, которого знал с малых лет.

– Какие люди? – спросил Скшетуский.

– А калишское ополчение?

Полупрезрительная-полустрадальческая улыбка скользнула по темному лицу солдата.

– Ясновельможный воевода, – сказал он, – сейчас время стрижки овец, а за плохо промытую шерсть в Гданьске платить не станут. Всякий шляхтич следит теперь у пруда за мойкой шерсти или стоит у весов, справедливо полагая, что шведы не убегут.

– Как так? – смутился воевода. – Еще никого нет?

– Ни живой души, кроме ратников… А там, смотришь, жатва на носу. Добрый хозяин в такую пору из дому не уезжает.

– Что ты мне, пан, толкуешь?

– А шведы не убегут, они только подступят поближе, – повторил ротмистр.

Рябое лицо воеводы вдруг покраснело.

– Что мне до шведов? Мне перед другими воеводами будет стыдно, если я останусь здесь один как перст!

Скшетуский снова улыбнулся.

– Позволь заметить, ясновельможный воевода, – возразил он, – что главное – все-таки шведы, а стыд уж потом. Да и какой там стыд, когда нет еще не только калишской, но и никакой другой шляхты.

– С ума они, что ли, посходили! – воскликнул Грудзинский.

– Нет, они только уверены в том, что коли им не захочется к шведам, так шведы не замедлят явиться к ним.

– Погоди, пан! – сказал воевода.

Он хлопнул в ладоши и, когда явился слуга, велел подать чернила, бумагу и перья и уселся писать.

По прошествии получаса он посыпал лист бумаги песком, стряхнул песок и сказал:

– Я посылаю еще одно воззвание, чтобы ополченцы явились pro die 27 praesentis[18], не позднее, думаю, что в этот последний срок они non deesse patriae[19]. А теперь скажи мне, пан, есть ли вести о неприятеле?

– Есть. Виттенберг обучает свои войска на лугах под Дамой.

– Много ли их у него?

– Одни говорят – семнадцать тысяч, другие – что больше.

– Гм! Нас и столько не наберется. Как ты думаешь, сможем мы дать им отпор?

– Коли шляхта не явится, об этом нечего и думать.

– Как не явиться – явится! Дело известное, ополченцы никогда не торопятся. Ну а вместе с шляхтой справимся?

– Нет, не справимся, – холодно ответил Скшетуский. – Ясновельможный воевода, у нас ведь совсем нет солдат.

– Как так нет солдат?

– Ты, ясновельможный воевода, так же как и я, знаешь, что все войско на Украине. Нам оттуда и двух хоругвей не прислали, хотя Богу одному ведомо, где гроза опасней.

– А ратники, а шляхта?

– На двадцать мужиков едва ли один нюхал порох, а на десять едва ли один умеет держать ружье. Из них получатся добрые солдаты, но только после первой войны, не теперь. Что ж до шляхты, то спроси, ясновельможный воевода, любого, кто хоть немного знаком с военным делом, может ли шляхетское ополчение устоять против регулярных войск, да еще таких, как шведские, ветеранов всей Лютеровой войны, привыкших к победам.

– Так вот ты как превозносишь шведов?

– Не превозношу я их! Будь тут у нас тысяч пятнадцать таких солдат, какие были под Збаражем, постоянного войска да конницы, я бы их не боялся, а с нашими дай бог хоть что-нибудь сделать.

Воевода положил руки на колени и в упор поглядел на Скшетуского, точно хотел прочитать в его глазах какую-то тайную мысль.

– Тогда зачем же мы пришли сюда? Уж не думаешь ли ты, что лучше было бы сдаться?

Скшетуский вспыхнул при этих словах:

– Коли я такое помыслил, вели, ясновельможный воевода, на кол меня посадить. Ты спрашиваешь, верю ли я в победу, я отвечаю как солдат: не верю! А зачем мы сюда пришли, это дело другое. Как гражданин, я отвечаю: чтобы нанести врагу первый удар, чтобы задержать его

---

[18] К 27-му числу текущего месяца *(лат.)*.

[19] Не оставят отчизны *(лат.)*. Подразумевается: в беде.

и позволить снарядиться и выступить другим воеводствам, чтобы нашими телами до той поры сдерживать натиск, покуда все мы не поляжем до последнего человека!

– Похвальное намерение, – холодно возразил воевода, – но вам, солдатам, легче говорить о смерти, нежели нам, кому придется ответ держать за море напрасно пролитой шляхетской крови.

– На то у шляхты и кровь, чтоб проливать ее.

– Так-то оно так! Все мы готовы голову сложить, это ведь самое легкое дело. Но долг тех, кто по воле провидения поставлен начальником, не одной только славы искать, но и о пользе дела думать. Это верно, что война уже как будто началась; но ведь Карл Густав – родич нашему королю и должен об этом помнить. Потому и надлежит попытаться вступить в переговоры, ибо словом можно иной раз добиться большего, нежели оружием.

– Не мое это дело! – сухо ответил пан Станислав.

Воевода, видно, то же подумал, потому что кивнул головой и простился с ротмистром.

Однако Скшетуский лишь наполовину был прав, когда говорил о медлительности шляхты, призванной в ряды ополчения. Правда, до окончания стрижки овец в стан между Пилой и Уйстем мало кто явился, но к двадцать седьмому июня, то есть к тому сроку, который был указан в новом воззвании, съехалось довольно много шляхты.

Погода давно уже стояла ясная, сухая, и тучи пыли поднимались каждый день, возвещая о приближении все новых и новых отрядов. Шляхта ехала шумно, верхами и на колесах, с целой оравой слуг, с запасами провианта, с повозками и всякими иными удобствами и с таким множеством копий, ружей, мушкетонов, сабель, тяжелых мечей и забытых уже к тому времени гусарских молотков, служивших для того, чтобы разбивать доспехи, что нередко какой-нибудь шляхтич был увешан оружием, которого с избытком хватило бы на троих. По этому вооружению ветераны тотчас узнавали людей неопытных, не нюхавших пороха.

Из всей шляхты, жившей на обширных пространствах Речи Посполитой, великопольская была наименее воинственной. Татары, турки и казаки никогда не попирали этих мест, где со времен крестоносцев почти совсем забыли, что значит воевать на родной земле. Кто из великопольской шляхты ощущал в себе воинственный пыл, тот вступал в коронные войска и сражался так же доблестно, как и прочие шляхтичи, а кто предпочитал отсиживаться дома, превращался в заправского домоседа, который любил и богатство приумножить, и повеселиться, – в ретивого хозяина, который заваливал шерстью и особенно хлебом рынки прусских городов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.